

Николай Стэф

*Шёпот
старого
фолианта*



Николай Стэф

Шёпот старого фолианта

«Автор»

2026

Стэф Н.

Шёпот старого фолианта / Н. Стэф — «Автор», 2026

Мира Белинская — тихая библиотекарьша, выглядит на тридцать пять, прожила более трёхсот лет. Она сменила десятки городов и имён и давно перестала мечтать о чём-либо, кроме чашки кофе по утрам и тишины. Нокс искал Миру три с половиной века. Он не убивает без нужды — он покупает, торгует, устраивает, плетёт сети из людей и теней. Древняя магия — единственное, что способно избавить его от вечного голода, и он не остановится, пока не завладеет ей. Его оружие — страх. Но есть тот, кто не боится. Он не боится странностей, замечает то, что другие предпочитают не видеть, и смотрит на Миру так, будто искал её всю жизнь. Триста лет тишины заканчиваются за один вечер. Тьма чувствует свет, если свет горит достаточно долго. И теперь Мире придётся решить: бежать снова — или впервые в жизни остаться и позволить себе то, чего она боялась больше всего, — любить. Тайна, которой триста лет. Любовь, которой не должно было быть. И выбор, от которого зависит всё.

© Стэф Н., 2026

© Автор, 2026

Николай Стэф

Шёпот старого фолианта

Глава 1

Старая библиотека на углу Печниковой улицы, в небольшом городке, пахла пергаментом, пылью и вечностью, и Мира Белинская любила этот запах больше всех на свете.

Он был для неё не просто запахом — он был симфонией, он был поэмой, он был единственной колыбельной, которая никогда ей не надоедала. Верхняя нота — сухая, чуть сладковатая пыль, оседающая на корешках фолиантов десятилетиями, та самая пыль, которую она никогда не вытирала до конца, потому что в ней — в этой пыли — жило время.

Этот запах был её единственной постоянной величиной в мире, где всё менялось слишком быстро для тех, кто жил обычную жизнь, и слишком медленно для той, кто пережила три столетия. Мира вдыхала его каждое утро, стоя на пороге, закрыв глаза, положив ладонь на холодную дубовую дверь, — и на несколько секунд позволяла себе забыть, кто она и сколько зим пронеслось над её головой. Забыть — это была роскошь, которую она могла себе позволить только здесь, в этой библиотеке, в этом городе, в этой жизни, которую она так тщательно, так кропотливо строила последние несколько лет.

Библиотека была старой — по-настоящему старой, не по меркам города, а по меркам человеческой истории. Её построили в конце девятнадцатого века, о чём свидетельствовала выцветшая табличка у входа, и с тех пор она почти не менялась: те же дубовые панели на стенах, тот же паркет, скрипящий в определённых местах — Мира знала эти места наизусть, — те же высокие потолки с лепниной, покрытой сетью трещин, как морщинами времени.

Здание стояло на углу Печниковой и Второй Мещанской, и его фасад — серый, скучный, с двумя рядами узких окон — был настолько непримечательным, что прохожие обычно не замечали его вовсе. Мира любила это. Она любила, что библиотека была невидимой, как и она сама. Что никто не заходил сюда случайно — только те, кто искал книги, только те, кто знал дорогу. Что в этом здании, с его пыльными залами и скрипучими половицами, время текло иначе — медленнее, гуще, почти осязаемо.

Каждое утро она отпирала тяжёлые дубовые двери, включала лампы с зелёными абажурами и приветствовала книги, как старых друзей, вернувшихся из долгой поездки.

Двери поддавались неохотно, с протяжным скрипом, словно старый сторож, которому лень просыпаться, — и Мира мысленно просила у них прощения за беспокойство. Она вставляла ключ в замочную скважину — большой, старинный, кованый ключ, который она никому не доверяла, — поворачивала его медленно, чувствуя, как механизм внутри сопротивляется, потом сдаётся, щёлкает, и дверь отходит на несколько сантиметров, выпуская наружу спёртый, тёплый воздух библиотеки. Мира налегала плечом — дверь была тяжёлой, дубовой, обитой изнутри войлоком для звукоизоляции, — и входила.

Внутри было темно. Темно и тихо — так тихо, что слышно было, как где-то в глубине зала капает вода из неплотно закрытого крана в подсобке. Мира шла вдоль стены, ведя ладонью по панелям — привычка, оставшаяся с тех времён, когда она жила в домах без электричества и по утрам искала свечи, — и находила выключатель. Первая лампа — та, что у входа, — вспыхивала с тихим щелчком, и зелёный абажур бросал на пол круг мягкого, уютного света. Потом вторая — у стеллажа с классикой. Третья — у окна. Четвёртая — в читальном зале.

Мира зажигала их одну за другой, и библиотека просыпалась, как спящий зверь, медленно, неохотно, но всё же просыпалась — наполнялась светом, тенями, жизнью.

Она шла вдоль полок, ведя ладонью по корешкам — не стирая пыль, нет, а здороваясь. Пальцы узнавали каждый: вот шершавый, потрескавшийся корешок сборника поэтов Сереб-

ряного века, вот гладкий, почти скользкий переплёт энциклопедии, вот коленкорový, с золотым тиснением, что почти стёрлось от времени. «Доброе утро, — шептала она. — Как спалось, старик? Не снились ли тебе читатели прежних лет?» Книги молчали, но Мира чувствовала их ответ — тёплое, едва заметное биение силы, которое отзывалось на её прикосновение. Это была её тайна, её проклятие и её единственное утешение.

Она знала эту библиотеку лучше, чем кто-либо из живущих. Знала, что в третьем стеллаже слева, на верхней полке, стоит книга, которую никто не открывал лет пятьдесят, — и что её страницы пахнут миндалём. Знала, что в подвальном хранилище, за железной дверью, лежат фолианты, которых нет ни в одном каталоге, — и что некоторые из них лучше не трогать. Знала, что сквозняк из окна в дальнем зале появляется только по вторникам, и что в дождливые дни паркет в читальном зале начинает пахнуть мокрым деревом, и что старые часы в холле отстают на семь минут — всегда, сколько бы их ни чинили. Мира знала всё это, потому что провела здесь сорок лет. Сорок лет — по человеческим меркам целая жизнь, а по её меркам — мгновение. Но это мгновение было её любимым.

Внешне она была самой обычной женщиной: скромное платье, скрывающее красивую грудь и фигуру, аккуратные очки в тонкой оправе, волосы убраны в низкий пучок.

Платье — серое, мышинного оттенка, с длинным рукавом и воротником-стойкой, из тех, что носят провинциальные учительницы и библиотекарши, не желающие привлекать к себе внимания. Оно сидело свободно, почти мешковато, но Мира знала: под этой бесформенной тканью скрывалась фигура, которой позавидовала бы иная двадцатилетняя. Высокая грудь, тонкая талия, округлые бёдра — всё то, что она старательно прятала, потому что красота — это приманка, а приманка привлекает не только хороших людей.

Она усвоила это ещё в восемнадцатом веке, когда впервые поняла, что не стареет. Тогда она была молодой — по-настоящему молодой, — и красота её была яркой, дерзкой, почти вызывающей. Мужчины оборачивались ей вслед. Женщины шептались за спиной. А потом начались вопросы — те самые вопросы, от которых пришлось бежать. «Почему вы не меняетесь?» «Сколько вам лет на самом деле?» «Кто вы такая?» С тех пор она носила только серое. Только свободное. Только незаметное. И красота её стала тайной — как и всё остальное в её жизни.

Очки в тонкой серебряной оправе сидели на самом кончике носа, и Мира то и дело поправляла их средним пальцем, почти неосознанно. Она купила их двадцать лет назад в маленькой оптике на соседней улице, и с тех пор они стали частью её лица — как брови, как губы, как едва заметная родинка над левой бровью.

За стёклами прятались глаза — голубые, глубокие, как северное небо перед грозой, с длинными ресницами.

Волосы — тёмные — были убраны в низкий пучок на затылке, стянутый простой чёрной резинкой. Она не пользовалась лаком, не делала укладок, не ходила в парикмахерские. Просто собирала волосы в пучок — быстро, привычно, одним движением, — и всё. Ни серег, ни браслетов, ни кольца на безымянном пальце — ничего, что могло бы привлечь внимание. Ничего, кроме заколки.

Только заколка — серебро с лунным камнем — выбивалась из серости, и Мира всем твердила, что получила её в наследство от бабушки. Бабушки, прожившей, по словам Миры, девяносто восемь лет и «считать дальше не рекомендуется».

Заколка была единственной яркой деталью в её облике — старинное серебро, потемневшее от времени, но не потерявшее благородного блеска, с овальным лунным камнем, который менял цвет в зависимости от освещения: то молочно-белый, как туман над рекой, то голубоватый, как лёд на весеннем солнце, то почти прозрачный, как капля воды. Мира вплетала её в пучок каждый день — аккуратно, привычно, почти ритуально, — и каждый день кто-нибудь из посетителей спрашивал: «Ах, какая прелесть! Откуда?»

— Бабушкино наследство, — отвечала Мира, не моргнув глазом.

— Ого! А сколько ей сейчас?

— О, она уже давно на пенсии, — следовал невозмутимый ответ. — Считать такие годы дальше не рекомендуется.

И в голосе её было столько суховатой, почти английской иронии, что собеседник обычно смеялся, принимая это за шутку. Шутка была хороша тем, что в ней не было ни слова правды, и Мира это знала. Бабушка — выдумка, удобная легенда, прикрытие, такое же серое и незаметное, как её платье. Никакой бабушки не было. Была только Варвара — огненно-рыжая, звонкоголосая, неукротимая Варвара, лучшая подруга — которая триста двенадцать лет назад подарила ей эту заколку и сказала: «Чтобы ты помнила: где бы мы ни были, что бы ни случилось, мы всегда найдём друг друга».

Триста двенадцать лет. Она помнила тот день так ясно, словно это было вчера: тёплый летний вечер, запах цветущей липы, смех Варвары — звонкий, беззаботный, — и её руки, протягивающие маленькую коробочку. Они сидели на берегу реки — тогда ещё чистой, тогда ещё полной рыбы, — и вода отражала закатное небо, и всё казалось возможным, всё казалось вечным.

Варвара была в белом платье — она всегда носила белое, даже когда это было не принято, — и её рыжие волосы горели в лучах заходящего солнца, как пожар. «Это тебе, Мирка, — сказала она, улыбаясь. — Чтобы ты помнила: где бы мы ни были, что бы ни случилось, мы всегда найдём друг друга». Лунный камень тогда казался тёплым, почти горячим на ладони, а Варвара улыбалась — искренне, открыто, как умела только она. Мира носила заколку все эти века — и как память, и как якорь, и как напоминание о том, что когда-то у неё была подруга, сестра, родная душа. А теперь... теперь эту правду нужно было прятать. Потому что, если кто-то узнает, откуда на самом деле взялась заколка, он узнает и всё остальное. И тогда трёхсотлетний покой Миры рассыплется, как карточный домик.

Она помнила Варвару — не ту, что стала потом ведьмой, вставшей на путь тьмы, а ту, прежнюю: смешливую девчонку с ободранными коленками и вечно спутанными рыжими волосами. Они познакомились в маленьком городке на севере, куда Мира приехала, убегая от своего прошлого. Варвара была дочерью мельника — простой, весёлой, любопытной. Она первая заметила, что Мира не такая, как все, — и первая приняла это без страха. «Ты странная, — сказала она однажды, глядя на Миру своими ледяными серыми глазами. — Но мне это нравится». С тех пор они были неразлучны. Вместе учились магии у старого Алистера — тот нашёл их обеих, почувствовал силу в обеих. Вместе мечтали о будущем — о том, как будут путешествовать, как увидят мир, как никогда не расстанутся. Вместе поклялись, что никакая сила, никакая тьма, никакой мужчина не встанет между ними. Тогда, триста лет назад, эти клятвы казались нерушимыми. Тогда Мира ещё не знала, что время ломает всё — даже самые крепкие узы. Даже самые искренние клятвы.

Три века она меняла города, имена и профессии, пока не поняла, что библиотекарь — идеальная маскировка: среди мёртвых бумаг бессмертная не выделяется вообще.

Она была аптекарем в Праге, когда чума косила целые кварталы, и её руки, не знающие усталости, смешивали настойки для умирающих. Она помнила тот ужас — запах гари, которым окуривали улицы, чтобы остановить заразу; стоны больных, доносящиеся из-за закрытых дверей; повозки, на которых увозили тела, — и свою беспомощность. Она не могла спасти всех. Она не могла спасти даже многих. Но она спасала тех, кого могла, — и это было всё, что у неё оставалось. Она была швеей в Париже, когда на улицах пели «Марсельезу», и её игла, не знающая ошибок, шила платья для жён революционеров. Она помнила, как пахло порохом и кровью, как грохотали выстрелы, как рушились стены Бастилии — и как она стояла среди толпы, безмолвная и незаметная, и думала о том, что история повторяется. Всегда. Везде. Она

была учительницей в маленьком сибирском городке. Она помнила холод — тот холод, который пробирал до костей, который нельзя было согреть ни печкой, ни чаем, ни воспоминаниями.

Но нигде — нигде! — она не чувствовала себя так спокойно, как в библиотеках. Среди мёртвых бумаг, среди пыльных стеллажей, среди книг, которые не задают вопросов и не требуют объяснений, она была просто женщиной с заколкой в волосах. Никто не спрашивал, почему она не стареет. Никто не удивлялся, почему она помнит события столетней давности так, будто они были вчера. Никто не подозревал, что за скромной библиотекаршей скрывается существо, пережившее три столетия. Библиотеки были её убежищем — и она любила их за это. Любила их тишину, их запах, их медлительность. Любила их так, как можно любить только дом — настоящий дом, которого у неё не было очень давно.

Она умела извлекать силу из книг — не из конкретных гримуаров, а из самого дыхания печатного слова, из сотен тысяч чужих мыслей, спрессованных между обложками. Это была не магия в привычном смысле — не заклинания, не ритуалы, не свечи и пентаграммы. Это было нечто глубже, древнее, почти забытое: умение слышать, как шепчут книги, как переливаются в них чужие жизни, чужие страсти, чужие надежды. Мира могла стоять посреди хранилища, закрыв глаза, и чувствовать, как сила стекается к ней ручейками — от каждой страницы, от каждой строки, от каждого слова. Она могла прикоснуться к книге — любой книге, — и почувствовать её историю: кто читал её до неё, какие мысли рождались в чьей-то голове, какие чувства — любовь, страх, отчаяние, надежда — пропитали её страницы. Это была её тайна, позволяющая ей быть бессмертной. Тайна, которую она не доверила бы никому.

Он нашёл её в тот год, когда она только-только обнаружила в себе этот дар — испуганную, растерянную, не понимающую, почему слова вдруг начали светиться под её пальцами. Ей было двадцать три — по человеческим меркам, — и она была одинока, как никогда. Родители умерли, братьев и сестёр не было, друзей — тоже. Она бежала из родного города, потому что не могла больше смотреть, как стареют её сверстники, как они женятся, рожают детей, умирают — а она остаётся прежней. Она не понимала, что с ней происходит. Не понимала, почему время не властно над ней. Не понимала, почему книги в её руках начинают светиться синим. Алистер появился в её жизни внезапно — как появляется гроза в жаркий летний день. Он просто вошёл в её дом, — старый, седой, с посохом из тёмного дерева, — и сказал: «Я искал тебя, Мирослава». Она вздрогнула, услышав своё настоящее имя, — то имя, которое она оставила в прошлом. «Кто вы?» — прошептала она. «Тот, кто знает, кто ты, — ответил он. — И тот, кто объяснит тебе, почему ты такая».

Алистер был стар — так стар, что даже она, бессмертная, не могла представить его возраст. Его седые волосы падали на плечи, как снег на горные вершины, а глаза — серые, прозрачные, как вода в горном ручье, — видели больше, чем она могла себе вообразить. Он учил её. Учил не магии — магию она чувствовала сама, интуитивно, — а пониманию. Пониманию того, что сила — это не проклятие, а дар. Пониманию того, что бессмертие — это не наказание, а возможность. Пониманию того, что книги — это не просто бумага и чернила, а живая память мира. «Ты не одна такая, — сказал он ей тогда. — И твоя сила — не проклятие. Это дар. Любая книга в твоих руках станет оружием и надеждой для других».

Мира рассмеялась — звонко, беззаботно, как умеют смеяться только те, кто ещё не знает, что такое настоящая боль. «Оружие? — переспросила она. — Из книг? Магистр, вы перечитали своих гримуаров». Алистер не обиделся. Он только покачал головой и посмотрел на неё — долго, внимательно, как смотрят на ребёнка, который ещё не понимает, что спички — это не игрушка. «Ты вспомнишь мои слова, Мирослава, — сказал он тихо. — Вспомнишь, когда придёт время». Она не поверила. А зря.

Теперь только она одна знала эту тайну: синие всполохи, вырывающиеся из раскрытых страниц книг, — это древняя магия, которую мир считал исчезнувшей навсегда. Это тайна, которая ушла из этого мира вместе с древним седым магом Алистером.

Когда он уходил — а он ушёл, просто растворился в утреннем тумане, оставив после себя только запах старой бумаги и тихое эхо последних слов, — Мира стояла на пороге своей библиотеки и смотрела, как тает его силуэт. «Береги себя, — сказал он на прощание. — И береги книги. Они — больше, чем ты думаешь». Она кивнула, хотя не поняла. Поняла позже — когда осталась одна. Когда впервые за долгие годы ощутила, как холодный ветер перемен коснулся её лица. Когда осознала: Алистер был последним, кто знал, кто она такая. Теперь она — единственная хранительница древней магии. Единственная, кто помнит, как звучит сила, спрятанная в словах. И это знание было тяжёлым — тяжелее всех фолиантов в хранилище, тяжелее всех веков, что она прожила.

Она давно не хотела ни силы, ни войны, ни тайн, ей хотелось лишь чашку какао, тихие вечера, и чтобы никто — никогда — не нашёл её снова и не нарушил её покой.

Мира мечтала о простых вещах. О том, чтобы утром пить кофе — не какао, какао она оставила в прошлом веке, — глядя в окно на мокрый от дождя город. О том, чтобы вечером, закрыв библиотеку, идти домой по тихой улице, где пахнет осенними листьями и чужим счастьем. О том, чтобы в её жизни не было ничего сверхъестественного — ни магии, ни пророчеств, ни предчувствий. Она устала. Триста лет — это очень долго, даже для бессмертной. Она устала быть сильной, устала быть осторожной, устала прятаться. Ей хотелось просто жить — тихо, незаметно, как мышь в библиотеке. Чтобы никто не искал её. Чтобы никто не вспоминал её имени. Чтобы прошлое — с его войнами, потерями, с его Варварой и Алистером — осталось там, где ему место: в пыльных архивах памяти.

Она часто думала о том, что было бы, если бы она тогда, триста лет назад, выбрала другой путь. Если бы не бежала, если бы не пряталась, если бы не хоронила своё прошлое под слоями новых имён и новых жизней. Может быть, тогда всё сложилось бы иначе. Может быть, Варвара не стала бы той, кем стала. Может быть, Алистер не ушёл бы в туман. Может быть, она не была бы так одинока. Но эти мысли приходили и уходили, как волны, — и Мира гнала их прочь. Прошлое нельзя изменить. Можно только жить дальше. И она жила. Тихо. Незаметно. Одна.

«Продлись, — шептала она. — Продлись хоть ещё сто лет». Но судьба, как известно, не спрашивает разрешения.

К вечеру она запирала архив, гладила корешки фолиантов и чувствовала, как через стены библиотеки течёт ровная, мирная жизнь обычного города.

За окнами гасли огни, слышались шаги редких прохожих, где-то лаяла собака, где-то смеялись дети — обычные звуки обычного вечера. Мира любила это время суток больше всего: когда библиотека пустела, когда лампы с зелёными абажурами становились единственным источником света, когда тишина становилась почти осязаемой, плотной, как бархат. Она обходила залы, гасила лампы одну за другой, и в каждом тёмном углу ей чудилось дыхание книг — тихое, мерное, успокаивающее. «Спокойной ночи, — говорила она. — Спите. Завтра будет новый день». И книги молчали — но не равнодушно, а понимающе, как старые друзья, которые знают: иногда слова не нужны.

Она задерживалась в библиотеке допоздна — дольше, чем следовало, дольше, чем было нужно. Ей нравилось быть здесь одной. Нравилось чувствовать, как библиотека живёт своей особой жизнью — скрипит половицами, вздыхает сквозняками, шелестит страницами, которые никто не перелистывает. Нравилось сидеть в читальном зале, при свете одной-единственной лампы, и смотреть в окно — на тёмные улицы, на редкие огни, на мир, который продолжал существовать без неё, не зная, не подозревая, что рядом, совсем рядом, живёт существо из другого времени. «Продлись, — шептала она этой жизни. — Продлись хоть ещё сто лет».

Но судьба решила по-другому в тот самый вечер.

Её заколка на волосах вдруг стала холодной, как лёд, и Мира впервые за долгие десятилетия поёжилась.

Холод был резким, внезапным, почти обжигающим — как будто кто-то приложил к её затылку кусок зимнего неба. Мира замерла. Рука сама потянулась к волосам, пальцы коснулись серебра — и отдёрнулись. Заколка была ледяной. Лунный камень — обычно тёплый, почти живой — сейчас казался кусочком арктического льда, и в его глубине, там, где всегда мерцал мягкий голубоватый свет, теперь пульсировала тревога. Тёмная, тягучая, как смола.

Мира знала этот холод. Она чувствовала его лишь дважды в жизни: в тот день, когда Алистер ушёл в туман, и в ту ночь, когда Варвара впервые произнесла слова, которые не должна была произносить. Это был знак. Это было предупреждение. Это было начало.

Она стояла посреди тёмного зала, прижимая ладонь к залке, и смотрела в окно — туда, где за стеклом лежал ночной город, тихий и безмятежный. «Продлись, — прошептала она в последний раз. — Продлись...» Но холод не уходил.

А где-то далеко, за много кварталов отсюда, в старом особняке на другом конце города, человек с золотистыми глазами уже оторвался от книги и посмотрел в сторону Печниковой улицы.

Он улыбнулся — медленно, предвкушающее, — и в его улыбке не было ничего человеческого. «Нашёл», — сказал он тихо. И тени в углу комнаты вздрогнули, подчиняясь его голосу. Три с половиной века он искал её. Три с половиной века — с того самого дня, когда впервые услышал о женщине, которая не стареет, о библиотекарше с лунным камнем в волосах, о бессмертной, что прячется среди смертных. Он искал её по всей Европе — в Праге и Париже, в Лондоне и Вене, в маленьких городах и больших столицах. Он спрашивал, подкупал, угрожал, убивал — и всё это время она была здесь, в этом тихом городе, в этой старой библиотеке, в двух шагах от него. Судьба, как известно, любит иронию. «Нашёл», — повторил он, и тени в углу снова вздрогнули. Столько лет он искал то, что как он считал принадлежало ему по праву, — и вот, наконец, нашёл. Три с половиной века поисков. Три с половиной века ожидания. И теперь — конец.

Он поднялся с кресла — высокий, безупречный, в дорогом чёрном костюме, — и подошёл к окну. За стеклом лежал город, погружённый в сон. Где-то там, на углу Печниковой улицы, стояла старая библиотека. Где-то там, среди пыльных книг, спала женщина с лунным камнем в волосах. Где-то там — совсем близко — ждала его. Он улыбнулся снова — и на этот раз в его улыбке не было ничего, кроме голода. «Скоро, — прошептал он. — Скоро мы встретимся, Мирослава. И тогда... тогда ты уже не сможешь убежать».

Тени вокруг него сгустились, подчиняясь его воле, — и в их глубине, в их чёрной, непроглядной тьме, отразилось лицо женщины с голубыми глазами и заколкой из лунного камня. Лицо, которое он искал три с половиной столетия. Лицо, которое теперь принадлежало ему.

А в библиотеке на углу Печниковой улицы Мира Белинская всё ещё стояла посреди тёмного зала, прижимая ладонь к холодной залке, и смотрела в окно. Она знала: покой кончился. Знала: прошлое вернулось. Знала: теперь всё будет иначе. И всё же — где-то в глубине души, в самом дальнем, самом тёмном уголке, который она так старательно прятала от самой себя, — она чувствовала странное облегчение. Триста лет ожидания. Триста лет страха. Триста лет одиночества. Может быть, теперь — теперь, когда холод коснулся её волос, когда тени сгустились на другом конце города, когда судьба, наконец, решила сыграть свою партию, — может быть, теперь она сможет перестать бежать.

Мира закрыла глаза. Где-то в темноте, в глубине залов, тихо шелестели страницы — книги просыпались, чувствуя её тревогу. Где-то в подвальном хранилище, за железной дверью, вспыхнул синий свет — древняя магия отзывалась на её страх. Где-то далеко, в старом особняке, человек с золотистыми глазами отдавал приказы теням — и тени слушались.

«Продлись, — прошептала Мира в последний раз. — Продлись...» Но ответа не было. Только тишина. Только пыль. Только вечность.

И где-то — совсем рядом, ближе, чем она думала, — раздался первый шаг. Шаг того, кто искал её три с половиной века. Шаг того, кто не собирался отступить.

Судьба, как известно, не спрашивает разрешения.

Глава 2

Утром в библиотеку зашёл человек, которого Мира узнала с первого взгляда, хотя выглядел он буднично: плащ, костюм, нервные руки.

Она узнала его сразу — ещё до того, как он переступил порог, ещё до того, как скрипнула дубовая дверь и колокольчик над входом, который она сама повесила лет двадцать назад, отозвался тонким, дребезжащим звоном. Мира в этот момент стояла у стеллажа с русской классикой, держа в руках потрёпанный том Достоевского, который надо было подклеить, — и вдруг почувствовала, как воздух в библиотеке изменился. Не похолодел — нет, было бы слишком просто, если бы он просто похолодел. Он стал другим. Более плотным, что ли. Более тяжёлым. Как будто в зал, пропитанный запахом пергамента и пыли, влили каплю чего-то чужеродного — тёмного, густого, пахнущего не книжной пылью, а чем-то живым, тёплым и очень, очень старым.

Мира не обернулась. Она продолжала смотреть на книгу — на выцветшую обложку, на потрескавшийся корешок, на страницу, где кто-то когда-то, лет сто назад, оставил на полях карандашную пометку, — и ждала. Ждала, как ждёт зверь в засаде: не двигаясь, не дыша, чувствуя каждым нервом, как незнакомец идёт по залу. Она слышала его шаги — негромкие, но какие-то неправильные. Человек в плаще ступал так, как ступают те, кто привык ходить бесшумно, но сегодня забыл об осторожности. Его шаги выдавали его с головой: слишком быстро, слишком неровно, слишком нервно. Он шёл не к стеллажам — он шёл к ней. И Мира знала это ещё до того, как он остановился в трёх шагах за её спиной.

Внешне он был обыкновенным. Совершенно, до неприличия обыкновенным — и это было самое страшное. Серый плащ, слегка влажный от утренней мороси, с воротником, поднятым так, чтобы закрывать подбородок. Под плащом — тёмный костюм, сшитый хорошо, но не броско, из тех, что не запоминаются. Туфли — начищенные, но стоптанные с внутренней стороны, как у человека, который много ходит и мало отдыхает. Головной убор — мягкая тёмная шляпа, надвинутая низко на лоб, из тех, что носят люди, не желающие, чтобы их узнавали. И руки. Мира не видела их — она всё ещё стояла спиной, — но она знала, что руки у него нервные, потому что слышала, как он сжимает и разжимает пальцы: тихий, едва уловимый шелест кожи о кожу, как будто он не знал, куда их деть, как будто всё это время боролся с желанием то ли схватить её, то ли убежать.

Мира медленно, очень медленно поставила книгу на полку. Поправила очки средним пальцем — привычный жест, который сейчас должен был выглядеть естественно, буднично, безобидно. И только потом обернулась.

Она узнала его окончательно.

Не лицо — лицо может меняться, тем более за столько лет. Она узнала то, что было под лицом: едва уловимый золотистый отблеск в глубине зрачков, слишком яркий, слишком чистый для человеческих глаз. Она узнала посадку головы — чуть склонённой набок, как у хищной птицы, которая оценивает добычу. Она узнала запах — тот самый запах, который почувствовала, когда он вошёл: тёплый, густой, с металлической ноткой, как кровь на старом серебре. Она узнала всё это сразу, в одно мгновение, — и не подала вида. Ни один мускул не дрогнул на её спокойном лице. Ни одна жилка не выдала того, что творилось у неё внутри. Триста лет учили её этому искусству — и триста лет она была в нём безупречна.

— Доброе утро, — сказала Мира ровным, вежливым, чуть сонным голосом, каким приветствовала всех посетителей. — Вы ищете что-то конкретное?

Он не ответил.

Он не подошёл к стеллажам с книгами, он подошёл к ней — и замер, глядя ей в лицо так, будто увидел привидение.

Он стоял так близко, что Мира чувствовала запах его плаща — мокрую шерсть, табак, что-то пряное, вроде гвоздики, — и слышала, как неровно, сбивчиво бьётся его сердце. Сердце билось. Это было важно. Мира отметила это машинально, как отмечала всё: сердце у него билось — медленно, редко, раз в две-три секунды, но билось. Значит, не вампир в полном смысле этого слова. Значит, кто-то из полукровок. Или из тех, кого обратили не до конца — не до смерти, а до чего-то среднего, что не живёт и не умирает, а висит между двумя берегами, как лодка без вёсел.

Глаза незнакомца округлились и сверкнули каким-то золотым отблеском — тем самым, который Мира заметила сразу, но теперь он стал ярче, отчётливее, почти болезненным. Его головной убор чуть съехал набок, открывая лицо, — и Мира наконец увидела его целиком. Молодое лицо, лет тридцати, может, тридцати пяти, с резкими скулами и тонкими губами, бледное до синевы, с тенью недосыпа под глазами. Красивое, в общем-то, лицо — но какое-то изношенное, как книга, которую слишком часто читали и слишком редко берегли. На виске — тонкий белый шрам, почти незаметный. На шее — воротник рубашки, застёгнутый не на ту пуговицу. И глаза. Золотисто-карие, с расширенными зрачками, с этим проклятым отблеском, — и в них Мира прочитала то, чего боялась триста лет: узнавание. Он тоже узнал её.

Он узнал её. Вот что было самым страшным. Не то, что он пришёл. Не то, что он смотрел на неё так, будто она — призрак, восставший из могилы. А то, что он её узнал — и это узнавание было взаимным, как рукопожатие, как удар, как пощёчина. Мира смотрела в его расширенные зрачки и видела там себя — своё отражение, маленькое, искажённое, но узнаваемое. И она знала: он видит то же самое. Он видит женщину, которую искали три с половиной века. Женщину, которую его господин жаждал найти больше всего на свете. Женщину с лунным камнем в волосах.

Их зрительный контакт продлился лишь мгновение. Одно мгновение — короткое, как вздох, как удар сердца, как искра, — но Мира успела заметить в его глазах всё: страх, восторг, жадность, панику. Он не ожидал её найти — или ожидал, но не здесь, не так, не в этой пыльной библиотеке, среди книг, при свете зелёных абажуров, утром обычного серого дня. Он искал её очень долго, — и вот она стояла перед ним, поправляя очки, в сером платье и с книгой Достоевского в руках. И это было настолько нелепо, настолько буднично, что он растерялся. Мира видела, как растерянность борется в нём с чем-то другим — с приказом, с долгом, с клятвой, которую он дал кому-то очень давно и очень страшному.

А затем этот человек развернулся и быстро пошёл на выход из библиотеки. Мира поняла, что он окончательно убедился в своей догадке.

Он не сказал ни слова. Не спросил ничего. Не попытался к ней прикоснуться, не попытался схватить, не попытался даже запомнить её лицо получше — хотя, наверное, уже запомнил навсегда. Он просто развернулся — резко, на пятках, едва не поскользнувшись на натёртом паркете, — и пошёл к двери. Быстро. Слишком быстро. Так ходят люди, которые только что увидели то, чего не должны были видеть, — или, наоборот, то, что искали всю жизнь и не знали, что делать, когда нашли.

Мира не стала тоже ничего выяснять. Она не окликнула его, не спросила, кто он и зачем пришёл, не потребовала объяснений. Она просто проводила его взглядом до двери, и взгляд этот был холоден, как сквозняк из склепа.

Она смотрела ему в спину — на то, как плащ хлопает при быстрой ходьбе, как напряжены плечи, как он придерживает рукой шляпу, словно боится, что она слетит и он останется с

непокрытой головой, как остался в её памяти один человек — один-единственный, — с которым она не хотела бы встретиться снова. Взгляд её был холодным, да. Холодным и пустым — как зимнее поле, как выстуженный дом, как склеп, в котором давно не зажигали свечей. Но за этим холодом, глубоко-глубоко, под слоями спокойствия и выдержки, под тремя столетиями выучки, что-то дрогнуло. Что-то сжалось. Что-то — очень старое, очень усталое — тихо, беззвучно вздохнуло.

Она не подала вида. Она никогда не подавала вида. Это было её главное искусство, её единственный настоящий талант — не та магия, что пряталась в книгах, не сила, что текла по её венам, а умение оставаться спокойной, когда внутри всё кричит. Мира стояла у стеллажа, сложив руки на груди, и смотрела, как незнакомец идёт к выходу. И в этой позе — прямой спине, ровных плечах, чуть склонённой голове — не было ни страха, ни волнения, ни даже удивления. Только холод. Только выдержка. Только триста лет выучки.

Человек бросил на кассу скомканную купюру и быстро вышел, задев напольную вазу.

Он не стал ничего объяснять, не стал извиняться, не стал даже смотреть, куда идёт. Просто бросил на стойку скомканную бумажку — смятую так, что она больше походила на обрывок письма, чем на деньги, — и рванул к двери. И по дороге задел плечом высокую узкую вазу, которая стояла на маленьком столике у входа — та самая ваза, что стояла там лет двадцать, та самая, в которую Мира по праздникам ставила ветки рябины или сухие колосья, та самая, что была настолько привычной, настолько незаметной, что её переставали видеть и посетители, и она сама.

Ваза покачнулась. Мира увидела это краем глаза — как она наклонилась, как пошла вбок, как начала падать, медленно, неотвратно, как падают вещи, которые уже не удержать. У неё было, наверное, полсекунды. Меньше. Мгновение, за которое обычный человек ничего не успел бы сделать — только вскрикнуть, только схватиться за воздух, только смотреть, как хрупкий фаянс разбивается о паркет.

Человек хлопнул дверью библиотеки, и ваза, стоящая на столике, чуть не упала — Мира машинально вытянула руку, и тень от вазы на мгновение согнулась неправильно, удержав её.

Она даже не успела подумать. Рука вытянулась сама — резко, коротко, как вытягивается рука, когда ловишь падающий нож, — и вместе с рукой вытянулось что-то другое. Что-то, что не имело ни формы, ни веса, ни названия. Тень от вазы — тень, которая должна была лежать на паркете спокойно и плоско, как лежит тень любого предмета в утреннем свете зелёных ламп, — вдруг дёрнулась. Изогнулась. Согнулась под неправильным углом, как сгибается человек, поднимающий что-то с земли, — и удержала вазу. Мгновение. Всего одно мгновение — но этого хватило. Фаянс качнулся назад, выровнялся, замер. Стоял, как стоял всегда, словно ничего и не было. Словно и не падал. Словно и не его спасли.

Мира опустила руку. Медленно, очень медленно. И только тогда позволила себе выдохнуть — коротко, почти беззвучно.

Никто не видел, но Мира знала: некоторые светлые тени её слушаются не просто так, они чувствуют в ней старшую ученицу древнего могущественного мага.

Она знала это давно — с тех самых пор, как Алистер, уходя в туман, оставил её одну с этим знанием, как оставляют ребёнка ключ от дома, в котором он должен жить сам. Светлые тени — те, что отбрасывают предметы в утреннем свете, те, что лежат на стенах и полу, те, что кажутся такими обыкновенными, такими понятными, — слушались её не потому, что она приказывала. Они слушались её потому, что чувствовали. Чувствовали в ней что-то древнее, что-то знакомое, что-то, чему они когда-то — очень давно, в эпоху, о которой не сохранилось даже легенд, — подчинялись добровольно. Мира не управляла ими. Мира просто была — и они тянулись к ней, как тянутся растения к свету, как тянутся дети к матери, как тянутся тени к тому, кто их отбрасывает. Потому что она сама была частью тоже же силы, что и они.

Она стала старшей ученицей Алистера в тот же год, когда он нашёл её — испуганную, растерянную, одинокую. Он учил её не заклинаниям — заклинания были для тех, кто не понимал сути, — а умению слышать. Слышать, как дышит мир. Слышать, как шепчут книги. Слышать, как слушаются тени. «Светлые тени — это память мира, — говорил он ей тогда, сидя с ней на полу подвала, при свете одной-единственной свечи. — Они помнят всё, что было. Они помнят, как выглядело это место до того, как здесь появились люди. Они помнят, как звучал голос первого мага. Они помнят меня — потому что я тоже был когда-то молод и тоже отбрасывал тень. Они узнают тебя, Мирослава. Они почуют в тебе мою ученицу. И они будут слушаться тебя — не потому, что ты сильная, а потому, что ты — моя».

Мира тогда не поверила до конца. Как и всегда, когда Алистер говорил ей что-то важное, — она не поверила и отмахнулась, и посмеялась, и сказала что-то вроде «магистр, вы преувеличиваете». А потом прошли годы — десятилетия, века, — и она убедилась, что он не преувеличивал. Светлые тени действительно слушались её. Удерживали падающие вещи. Закрывали двери, которые сквозило. Задерживали на мгновение руку врага, тянущуюся к её горлу. Мелочи, конечно. Мелочи, которые не спасают от настоящего зла. Но мелочи, которые триста лет помогали ей выживать.

Но также она знала, что есть и другие тени — те, что подчиняются не только ей.

И вот эта мысль, эта мысль о других тенях, была той самой, от которой у Мира холодели пальцы. Потому что светлые тени слушались её по доброй воле — а тёмные тени слушались по принуждению. Их подчиняли. Их держали на цепи. Их использовали — и тот, кто умел это делать, тот, кто владел этим искусством, был опаснее любого меча, любого огня, любого проклятия. Тёмные тени не помнили мира. Тёмные тени помнили только боль. И тот, кто держал их на привязи, мог отправить их куда угодно — в любой город, в любой дом, в любую комнату. Мог отправить их шпионить. Мог отправить их убивать. Мог отправить их искать.

Мира знала, что есть такой человек. Знала его имя — вернее, то имя, которым он называл себя последние восемь веков. Знала, что он не прекращал поисков ни на день. И знала, что сегодня утром — впервые за триста лет — одна из его теней, вероятно, только что побывала в её библиотеке.

В тот же вечер она спустилась в запретный для простых людей подвал, точнее одна из комнат в нём, на этой комнате была магическая печать, не пропускающая никого, кроме Мира.

Подвал библиотеки был старым — старше самого здания, старше всего города, старше всех, кто когда-либо жил в этих краях. Мира знала это точно: она спускалась туда триста лет — нет, не в этот подвал, конечно, в разные подвалы, в разных городах, — и всегда узнавала это чувство. Чувство, когда под ногами начинается другая земля. Не та, по которой ходят люди. Не та, что помнит шаги, экипажи, асфальт. А другая — древняя, глубокая, помнящая времена, когда здесь не было ни домов, ни улиц, ни самого слова «город».

Лестница вела вниз узким винтом — каменные ступени, стёртые в середине, покрытые тонким слоем пыли, которую Мира никогда не вытирала. Перила — кованые, холодные, чуть влажные от подземной сырости. Чем ниже она спускалась, тем тише становилось — не просто тихо, а по-настоящему тихо, той абсолютной тишиной, которая бывает только под землёй, где не слышно ни ветра, ни шагов, ни дыхания мира. Только её собственные шаги. Только её собственное дыхание. Только её собственное сердце — которое, кстати, билось ровно и медленно, как у человека, привыкшего к подземельям.

В самом низу лестница упиралась в короткий коридор — три метра, не больше, — вырубленный прямо в скале. По обе стороны — глухие стены, покрытые мхом и плесенью. В конце — железная дверь, низкая, тяжёлая, с заклёпками по краям. Обычная на вид — из тех, что стоят в старых домах, в кладовках, в погребах. Но Мира знала: эта дверь была совсем не обычной.

На ней лежала магическая печать.

Мира видела её каждый раз — и каждый раз замирала на секунду, чтобы полюбоваться. Печать была нанесена прямо на металл — тонкими серебристыми линиями, которые не светились, не мерцали, не бросались в глаза. Обычный человек, если бы он каким-то чудом забрёл сюда, принял бы эти линии за царапины, за следы времени, за причудливую игру ржавчины. Но Мира видела их истинную природу. Она видела, как линии складываются в узор — сложный, многослойный, переплетающийся сам с собой, как корни старого дерева. Она видела, как в глубине этого узора пульсирует сила — тихая, спокойная, но абсолютно непреклонная. И она знала: эта печать не пропустит никого, кроме неё. Ни человека. Ни мага. Ни вампира. Ни тень.

Алистер давно научил её ставить такие магические печати, — и Мира помнила, всё до самого последнего слова. Помнила, как серебристые линии вспыхнули под её пальцами, как впитались в металл, как затихли, свернувшись в узор, после того как она произнесла нужные слова.

«Запомни, — сказал он Алистер, когда показал ей эту магию в первый раз. — Эта печать пропустит только тебя. Только твою кровь, только твою руку, только твоё намерение. Никто другой не сможет сюда войти — даже тот, кто сильнее тебя. Даже тот, кто умнее тебя. Даже тот, кто будет очень, очень стараться». Мира тогда спросила: «А если ты вернёшься?» Алистер обернулся — и посмотрел на неё так, что она поняла: он не вернётся. Он никогда не вернётся. «Тогда печать пропустит и меня, — ответил он с улыбкой. — Но я не вернусь, Мирослава. Это твой мир теперь. Твой и только твой».

Мира приложила ладонь к двери. Серебристые линии дрогнули — едва заметно, как дрожит вода, если в неё опустить палец, — и разошлись в стороны, освобождая замок. Дверь открылась сама. Мира шагнула внутрь и закрыла её за собой.

Там был спрятан «Кодекс Эониума» — древний фолиант, который враги хотели отобрать уже очень давно, считая его источником её силы.

Комната была маленькой — три шага в длину, два в ширину, — с низким каменным потолком и стенами, покрытыми всё тем же мхом. Никакой мебели. Никаких полок. Ничего, кроме каменного постамента в самом центре — грубого, неотёсанного, древнего, — и фолианта, лежащего на нём.

Мира остановилась на пороге и посмотрела на него — так, как смотрят на старого друга, с которым давно не виделись, но о котором помнили каждый день.

Кодекс Эониума лежал на постаменте, закрытый, тёмный, неподвижный. Толстый — такой толстый, что, казалось, в нём было не меньше тысячи страниц. Тяжёлый — настолько тяжёлый, что обычный человек не смог бы его поднять. Переплёт — старый, очень старый: тёмная кожа, потрескавшаяся от времени, покрытая сетью глубоких морщин, как лицо человека, прожившего не одну сотню лет. По краям переплёта — металлические уголки, потемневшие от времени, но не потерявшие формы: грубое серебро, местами позеленевшее, местами почти чёрное. На крышке — тиснение, которое почти стёрлось: не буквы, не символы, а что-то среднее, какой-то знак, который не читался глазом, но читался чем-то другим — тем, что жило в глубине Миры и отзывалось на древность.

Страницы — пожелтевшие, как старая бумага, которую слишком долго держали на свету. Неровные по краям, с заломами, с пятнами — следами времени, следами воды, следами чьих-то пальцев, которые когда-то касались их. Мира знала: эти страницы старше всего, что она видела. Старше пирамид. Старше городов. Старше, возможно, самого человечества. Их писали — нет, не писали. Их создавали. Их выводили из чего-то, что не было чернилами, из чего-то, что не было кожей, из чего-то, что не имело имени.

Фолиант был мощным, древним, гудящим, как рассерженный улей.

Мира чувствовала это сразу — с того самого мгновения, как переступила порог комнаты. Кодекс не молчал. Он никогда не молчал. Он гудел — тихо, низко, на границе слышимости, — и это гудение отдавалось у неё в костях, в зубах, в кончиках пальцев. Как будто внутри пере-

плёта жил рой. Как будто тысячи тысяч тонких голосов шептали что-то одновременно — не слова, а звуки, — и эти звуки складывались в одно сплошное гудение. Мира знала: это не рой. Это голоса. Голоса тех, кто жил до неё. Голоса тех, кто держал этот фолиант в руках. Голоса тех, кто умер, но не ушёл до конца — потому что часть их осталась здесь, между страницами, вплетённая в силу, которая не имела ни начала, ни конца.

Мира давно хранила её от чужих глаз и её секрет. Триста лет — с тех самых пор, как Алистер передал ей его, — она приходила сюда. Иногда каждый день. Иногда раз в год. Иногда — раз в десятилетие. Она спускалась по винтовой лестнице, прикладывала ладонь к двери, входила в маленькую каменную комнату и стояла перед постаментом. Не открывала фолиант — этого делать было нельзя. Не читала его — этого делать не следовало. Просто стояла. Просто смотрела. Просто слушала, как гудит внутри него древняя сила, и чувствовала, что всё на месте, что всё цело, что никто не нашёл, никто не тронул, никто не унёс.

Древний седой маг Алистер говорил ей очень давно, что данный фолиант скрывает в себе силу, способную помочь раскрыть то, что было скрыто от всех.

Мира помнила тот разговор — помнила его так ясно, как будто он был вчера, хотя с тех пор прошло уже больше трёхсот лет. Они сидели у костра — Мира уже не помнила, где именно. Помнила только, что был вечер, что горел огонь, что Алистер был задумчив — задумчивее, чем обычно, — и что рядом между ними лежал Кодекс. Он лежал тогда открытым — единственный раз, когда Мира видела его открытым, — и страницы его слабо светились синим светом в темноте, и от них шёл тот самый низкий, ровный гул.

«Слушай внимательно, Мирослава, — сказал Алистер. — То, что я тебе сейчас скажу, ты должна запомнить навсегда. Запомнить не умом, а сердцем. Запомнить так, чтобы даже через тысячу лет ты могла повторить это слово в слово».

Мира кивнула. Она редко видела его таким серьёзным.

«Этот фолиант — не просто книга, — продолжал он. — Это ключ. Ключ к тому, что было скрыто от всех. К тому, что было спрятано ещё до того, как появились первые маги. К тому, что мир — весь мир, все люди, все существа, всё живое — забыл очень давно и не должен вспомнить. Внутри него заключена сила, способная раскрыть то, что скрыто. Раскрыть — и показать».

«Показать что?» — спросила Мира.

Алистер помолчал. Потом посмотрел на неё — долго, внимательно, как смотрят на человека, которому собираются доверить слишком много. «Правду, — сказал он наконец. — Правду о том, откуда всё взялось. Откуда взялась магия. Откуда взялись мы. Откуда взялось зло. Правду о том, почему одни живут вечно, а другие умирают через тридцать лет. Правду о том, почему тени слушаются одних и не слушаются других. Всё, что было скрыто — всё, что было спрятано от всех, — откроется тому, кто сумеет прочитать этот фолиант до конца».

Мира вздрогнула. «И ты его читал?»

«Нет, — ответил Алистер. — И ты не должна. Никогда. Ни при каких обстоятельствах».

«Почему?»

«Потому что правда — это оружие, — сказал он. — Оружие, которое бьёт в обе стороны. Тот, кто читает Кодекс до конца, узнает всё — и это знание сделает его сильнее всех. Но оно же сделает его и несчастнее всех. Потому что правда, Мирослава, не всегда освобождает. Иногда она убивает. Иногда она ломает, она превращает человека в то, чем он никогда не хотел быть».

Он перевёл взгляд на фолиант. Гул внутри него, казалось, стал громче — как будто Кодекс слушал их разговор и отзывался на слова мага.

«Нужно его беречь, — сказал Алистер. — Беречь и не допустить попадания в злые руки. Потому что если он попадёт в злые руки — если его прочтает тот, кто хочет зла, — то зло не просто узнает правду. Зло раскроет и познает истинную свою силу. Понимаешь? Оно узнает,

откуда взялось. Оно узнает, зачем существует. Оно узнает, как стать сильнее, как стать могущественнее, как победить всё, что ему противостоит. И тогда... тогда мир, который мы знаем, перестанет существовать. Не сразу. Не в один день. Но постепенно — и необратимо».

Мира смотрела на него, широко раскрыв глаза. Ей было страшно — по-настоящему страшно, впервые за долгое время. «А если его прочитаю я? — спросила она тихо. — Если я узнаю правду — я смогу... я смогу что-то исправить?»

Алистер покачал головой. «Ты не должна, — сказал он. — Ты должна просто хранить. Хранить и ждать».

«Ждать чего?»

«Того момента, когда правда понадобится, — ответил он. — Не раньше. Не позже. Ты поймёшь, когда он придёт. И тогда... тогда ты решишь, что делать».

Он закрыл Кодекс — медленно, осторожно, как закрывают глаза умершему, — и свет погас. Гул стих.

«Это не просто источник силы, — сказал Алистер в темноте. — Это ответственность. Самая тяжёлая из всех, что я когда-либо на кого-либо возлагал. И я возлагаю её на тебя, Мира-слава. Потому что верю: ты справишься».

Именно для этого он ей и был нужен.

Мира знала это. Знала не потому, что Алистер ей сказал, — хотя и потому тоже, — а потому что чувствовала сама. Каждый раз, когда она спускалась в эту комнату, каждый раз, когда стояла перед постаментом, каждый раз, когда смотрела на тёмный переплёт и слушала низкое гудение, она чувствовала эту силу. Она текла из Кодекса — не наружу, не в мир, а внутрь, в самую себя, — и наполняла комнату чем-то, чему не было названия. Чем-то, от чего воздух становился плотнее, тяжелее, слаще. Чем-то, от чего у Миры начинали покалывать кончики пальцев и по спине пробегал холодок — не от страха, а от узнавания. Как будто сила Кодекса была ей родной. Как будто она знала её раньше — очень давно, до своего рождения, до всех своих жизней, до всего.

Она провела ладонью над пергаментом, не касаясь, и услышала, как где-то в городе тьма зашевелилась, пробудившись от запаха древней магии.

Мира протянула руку — медленно, осторожно, как протягивают руку к спящему зверю, — и провела ладонью над Кодексом. Не коснулась. Только над. Близко-близко — на расстоянии волоска, на расстоянии вздоха, — но всё же не касаясь. Она чувствовала, как от переплёта идёт тепло — не жар, а тёплое, ровное, живое тепло, как от человека, который спит рядом. Чувствовала, как гудение меняется — становится глубже, ниже, почти ласковым, — как будто Кодекс узнал её, как будто обрадовался, как будто потянулся навстречу.

И в тот же миг — в то самое мгновение, когда её ладонь прошла над тёмной кожей переплёта, — что-то произошло. Не здесь. Не в этой комнате. Не в этом подвале. Где-то там, наверху, за стенами библиотеки, за улицами города, за домами и крышами, — тьма зашевелилась. Мира не видела этого. Она не могла этого видеть. Но она почувствовала — всем своим существом, всей своей силой, всем своим древним, трёхсотлетним чутьём. Тьма, которая до этого спала, тьма, которая лежала неподвижно, свернувшись в клубок, — проснулась. Потянулась. Принюхалась. Почуяла запах — тот самый запах, который шёл от Кодекса, запах древней магии, запах силы, которую мир считал исчезнувшей навсегда. И этот запах разбудил её.

Мира отёрнула руку. Резко. Слишком резко. И замерла, глядя на свои пальцы — на кончики, которые покалывало, на кожу, по которой пробежали едва заметные синие искорки.

Она сделала это. Она разбудила тьму. Или не разбудила — нет, тьма проснулась сама, но она, Мира, дала ей знак. Показала, где искать. Позволила почуять.

«Глупо, — сказала она себе. — Старая дура. Триста лет пряталась — и вот, стоило одному вампиру зайти утром в библиотеку, как ты потеряла голову. Потеряла осторожность. Потеряла всё, чему тебя учили».

Она опустила руку. Взяла себя в руки — в прямом и переносном смысле. Заставила дыхание выровняться, сердце — замедлиться, мысли — улечься. И только тогда, когда почувствовала, что снова владеет собой, позволила себе то, чего не позволяла уже очень давно.

Она сняла очки. Медленно, двумя пальцами, как снимают что-то, что стало слишком тяжёлым. И сразу же мир вокруг стал мягче — не потому, что зрение изменилось, а потому, что очки были её маской. Маской библиотечарши. Маской обычной женщины. Маской той, кто прячется. Без них она была собой — той, кем была на самом деле. Той, кто прожил триста лет. Той, кто видел, как рушатся империи, как умирают друзья, как проходят эпохи. Той, кто устал.

Она протёрла переносицу — то самое место, где очки оставляли две красноватые вдавленные полосы, — и закрыла глаза. И впервые за долгие-долгие десятилетия позволила себе то, что запрещала всегда. Она позволила себе устать. По-настоящему устать. Не внешне — внешне она была всё той же красивой женщиной с голубыми глазами и серебряной заколкой в волосах. Её лицо не тронули морщины, её спина не согнулась, её руки не дрожали. Но душа её — душа, которую никто не видел, — вдруг стала старой. Древней. Тяжёлой. Как будто все триста лет разом навалились на неё, как будто все города, которые она сменила, все имена, которые она носила, все люди, которых она потеряла, все книги, которые она прочла, — всё это в один миг сжалось в комок и легло ей на плечи.

Она устала. Она устала прятаться. Устала бегать. Устала просыпаться каждое утро и напоминать себе, кто она, потому что, если не напоминать — можно забыть. Можно стать той серой библиотечаршей, которой она притворялась, и потерять себя настоящую. Устала бояться, что однажды в дверь войдёт кто-то — вот такой, как этот, с золотистым отблеском в глазах, с нервными руками, с узнаванием во взгляде, — и всё рухнет. Устала от того, что всё это время была одна. Совсем одна. Триста лет — одна.

«Ладно, — сказала она пустому подвалу. — Я предупреждала вас очень давно: не ищите со мной встречи. Теперь всё будет по-другому».

Она сказала это тихо — почти шёпотом, — но в её голосе не было ни страха, ни отчаяния. Была усталость. И была решимость. Та самая решимость, которая просыпается в человеке, когда он понимает: бежать больше некуда. Когда он понимает: всё, что он так тщательно строил триста лет, — рассыпалось. И теперь остаётся только одно — встретиться с тем, от кого он бежал. Лицом к лицу. Глаза в глаза. Так, как она не хотела — но так, как, видимо, было предназначено.

Мира открыла глаза. Надела очки. Поправила заколку — ту самую, с лунным камнем, которая всё ещё была чуть холодной, чуть тревожной, — и посмотрела на Кодекс.

— Я предупреждала вас, — повторила она, и на этот раз в её голосе было что-то другое. Что-то твёрдое. Что-то металлическое. Что-то от той женщины, которая триста лет назад стояла на берегу реки рядом с рыжеволосой девушкой и смеялась, не зная, что смеётся в последний раз. — Я предупреждала: не ищите со мной встречи. Не будите то, что спит. Не трогайте то, что вам не принадлежит. Но вы не послушали. Вы никогда не слушали. Ни он, ни она, ни вы все.

Она обвела взглядом маленькую каменную комнату — постамент, стены, мох, — и улыбнулась. Улыбка была невесёлой. Горькой. Так улыбаются люди, которые знают: впереди — не победа, а битва. И не просто битва, а битва, которую нельзя отложить.

— Что ж, — сказала Мира. — Теперь всё будет по-другому.

Она развернулась и пошла к двери. Серебристые линии на металле дрогнули, пропуская её наружу, и сомкнулись за её спиной, и комната снова погрузилась в темноту и тишину — только низкое, ровное гудение осталось в воздухе, как дыхание спящего.

А Мира поднималась по винтовой лестнице — вверх, к свету зелёных ламп, к запаху пергамента и пыли, к своей библиотеке, к своей маске, к своей жизни, — и в голове у неё, одна

за другой, проносились мысли. Быстрые, чёткие, холодные. Такие, какие бывают у человека, который знает: пощады не будет.

Он нашёл её. Тот, кто искал три с половиной века. Тот, кто не остановится ни перед чем. Тот, чьи тени слушаются только его. Он нашёл её — и теперь уже не отступит. Значит, надо готовиться. Значит, надо вспомнить всё, чему учил Алистер. Значит, надо достать из дальних углов памяти то, что она так старательно прятала. Заклинания. Приёмы. Слова. Тени. Силу.

Мира поднялась на последнюю ступеньку, вошла в читальный зал и остановилась. За окнами был вечер — серый, дождливый, обычный. Горели фонари. Шли прохожие. Жизнь — та самая мирная, тихая жизнь, которую она так любила, — продолжалась. И Мира, стоя посреди своего зала, в своём сером платье, со своей заколкой в волосах, вдруг поняла: она будет по этой жизни скучать.

Потому что теперь всё будет по-другому.

Глава 3

Ночью Мира не спала — она редко спала полноценно, вечная жизнь в этом смысле была бесчеловечно неудобной.

Сон — настоящий, глубокий, тот, что приходит к людям после долгого дня и уносит их в мягкую, тёмную, бессловесную глубину, — был для Миры роскошью, которую она позволяла себе раз в несколько месяцев. Не потому, что не могла, — физически она могла спать сколько угодно, её тело не знало усталости в человеческом смысле. А потому, что сон был опасен. Во сне она теряла контроль. Во сне её сознание, всегда настороженное, всегда готовое к удару, отпускало поводья — и тогда сила, живущая в ней, начинала жить своей жизнью. Слова, которые она читала за день, всплывали в памяти и светились синим. Тени в комнате шевелились, повинаясь её дыханию. Книги на полках открывались сами собой, перелистывались, шептали. Однажды — это было лет сто пятьдесят назад, в маленьком городке на юге Франции — она проснулась от того, что вся мебель в комнате висела в воздухе окруженная магией. С тех пор Мира спала урывками. По два-три часа. Никогда больше. Никогда глубоко.

Вот и сегодня, после того как она погасила лампы в читальном зале, заперла двери и поднялась в свою маленькую комнатку на втором этаже — ту самую, где стояла узкая кровать, старый комод и кресло с продавленным сиденьем, — она не легла. Она постояла у окна, глядя на мокрую от дождя улицу, потом повернулась и пошла вверх. По узкой деревянной лестнице, которая скрипела в трёх местах — Мира знала этих места наизусть. Через маленькую дверцу, за которой начинался чердак — пыльный, тёмный, заставленный сломанной мебелью и коробками с книгами, которые она всё собиралась разобрать. И дальше — по ещё одной лестнице, совсем крутой, почти вертикальной, — на крышу.

Она иногда любила выйти на крышу библиотеки, в которой частенько оставалась ночевать, и никто ей этого не запрещал.

Крыша была плоская, покрытая тёмным рубероидом, с низким каменным парапетом по краю и старой водосточной трубой, торчащей в углу. Мира выходила сюда часто — летом, когда ночи были тёплыми и пахли липой, зимой, когда снег ложился на парапет ровным белым одеялом, весной, когда с крыш капало и воздух пах пробуждением, осенью, когда город внизу горел жёлтым и красным. Она любила эту крышу. Любила больше, чем свою комнату, больше, чем читальный зал, больше, чем весь остальной мир. Потому что отсюда, казалось, был виден город — весь, целиком, от края до края. И потому что здесь, наверху, под открытым небом, она могла дышать.

С помощью лёгкой магии, она всех своих малочисленных коллег убедила, что это нормально.

Магия была простой — почти незаметной. Мира не произносила заклинаний, не чертила символов, не жгла свечей. Она просто смотрела в глаза — и говорила. Не словами — хотя слова тоже были, — а чем-то другим, что жило в её взгляде, в её голосе, в её дыхании. Тонкой, почти прозрачной нитью, которая протягивалась от её зрачков к зрачкам собеседника и вплеталась в его мысли мягко, как вплетается в ткань чужая нитка — незаметно, но навсегда. Она делала это редко. Только когда нужно было. Когда кто-то из сотрудников — Валентина Петровна, заведующая читальным залом, или Костя, молодой библиотекарь, который приходил три раза в неделю, — замечал, что Мира остаётся ночевать в библиотеке. «Мира Андреевна, вы опять здесь? Дома-то не ждут?» — спрашивала Валентина Петровна, и Мира улыбалась, и смотрела ей в глаза, и говорила: «Дома пусто. А здесь — книги. Я за ними присмотрю». И Валентина Петровна кивала, и уходила, и на следующий день уже не помнила, что спрашивала. Не потому, что была глупой. А потому, что магия Миры была мягкой. Она не стирала память, не ломала волю, не подчиняла. Она просто вкладывала в чужое сознание маленькую, удобную мысль: «Всё в порядке. Так и должно быть. Мира Андреевна — библиотекарь. Библиотекари иногда остаются ночевать на работе. Это нормально». И мысль эта приживалась, как семечко, и прорастала, и никто никогда не задавал лишних вопросов.

Мира ненавидела эту магию. Ненавидела больше, чем все остальные свои умения, — а их у неё было немало. Потому что это была магия, которая касалась людей. Их мыслей. Их свободы. Того, что Мира ценила выше всего — ведь сама она триста лет не могла позволить себе быть свободной. Она оправдывала себя тем, что делает это редко. Тем, что не причиняет вреда. Тем, что ей просто нужно место, где она может быть одна. Но каждый раз, когда она касалась чужого сознания — пусть даже самым мягким, самым невинным касанием, — внутри неё что-то сжималось. Что-то, что ещё помнило слова Алистера: «Никогда не бери чужую волю, Мирослава. Даже самую малость. Даже на мгновение. Потому что тот, кто берёт чужую волю, рано или поздно теряет свою».

Она теряла свою уже триста лет. По крупичкам. По каплям. Каждый раз, когда врала о бабушке. Каждый раз, когда притворялась обычной. Каждый раз, когда смотрела в глаза и говорила: «Это нормально».

Сегодня она вышла на крышу поздно — было, наверное, около двух или трёх часов ночи. Город внизу спал. Огни в окнах погасли, улицы опустели, только редкие фонари горели вдоль Печниковой, бросая на мокрый асфальт жёлтые круги. Дождь кончился, но воздух был влажным, тяжёлым, полным запахов — мокрого камня, мокрой листвы, мокрой земли. Небо было затянуто облаками, и луны не было видно, и звёзд не было, и весь мир казался чёрно-серым, размытым, как старая фотография.

Мира подошла к парапету и села — прямо на холодный камень, свесив ноги вниз. Она часто так сидела. Смотрела на город и думала. Или не думала — просто смотрела. Но сегодня думать придётся. Сегодня — придётся.

Глядя на спящий город, она вспоминала деревню у чёрного озера, где всё началось, и где, точнее, всё кончилось.

Деревня называлась Тихвин. Мира не помнила, почему её так называли — может, в честь святого, может, в честь иконы, может просто потому, что здесь было тихо. Тихвин стоял на берегу озера — тёмного, почти чёрного, глубокого, как сама бездна. Вода в нём никогда не прогревалась до конца: даже в самые жаркие июльские дни у берега было холодно, а на середине — ледяная. Люди говорили, что озеро бездонное. Что в нём водятся духи. Что на его дне лежат города, ушедшие под воду много веков назад. Мира не знала, правда это или вымысел. Но она помнила, как сидела на его берегу вечерами — совсем ещё девчонка, босая, в простом льняном платье, с ободранными коленками, — и смотрела в чёрную воду, и чувствовала, как что-то в ней отзывается на эту черноту. Как что-то в ней тянется туда, в глубину. Как что-то в ней знает: она не такая, как все.

Там её научил первым словам силы Алистер Рейвен, седой маг с глазами цвета зимнего неба, который видел в деревенской девчонке то, чего не видела она сама.

Он появился в Тихвине осенью — Мире было тогда семнадцать, и она уже знала, что с ней что-то не так. Она не старела — или старела слишком медленно, — и это пугало её. Она слышала шёпот книг — даже тех, что никто не открывал десятилетиями, — и это пугало её ещё больше. Она видела сны, в которых говорила на языке, которого не знала, и эти сны были ярче, реальнее, чем сама жизнь. Она никому не рассказывала об этом. Ни матери, ни отцу, ни подругам. Она просто жила — тихо, незаметно, стараясь не выделяться. И ждала. Сама не зная чего.

Когда Алистер появился в её жизни, она была к этому готова.

Он учил её магии три года. Жил в маленьком доме на краю деревни, ходил с ней на берег чёрного озера, заставлял слушать воду, слушать ветер, слушать тишину. «Сила вокруг тебя, — говорил он. — Научись её чувствовать — и она сама потянется к тебе». Мира училась. Медленно, трудно, иногда со слезами — потому что сила не давалась, потому что слова не светились, потому что тени не слушались. Но Алистер был терпелив. Он никогда не повышал голоса, никогда не торопил её, никогда не говорил: «Ты недостаточно стараешься». Он просто ждал. И однажды — в один из тех серых, дождливых дней, когда озеро особенно чернело, — у Миры получилось. Первое слово силы. Первый синий всполох. Первая тень, которая согнулась под её рукой. Она заплакала тогда — от счастья, от облегчения, от чего-то ещё, чему не было названия. А Алистер улыбнулся — редко, скупно, как улыбались только он, — и сказал: «Теперь ты видишь. Теперь ты знаешь. Теперь ты — настоящая».

Там же рядом с ней у Алистера, училась и Варвара — рыжая, смелая, смеющаяся, её сестра по всему, кроме крови.

Варвара пришла к Алистеру через год после Миры. Она была старше — на два или три года, — и она была другой. Совсем другой. Где Мира была тихой и наблюдательной, Варвара была громкой и дерзкой. Где Мира пряталась, Варвара шла напролом. Где Мира молчала, Варвара смеялась. Она была как огонь — яркая, горячая, неукротимая. И Мира, которая всю жизнь была одна, которая всю жизнь чувствовала себя чужой среди людей, вдруг нашла того, кто её понимал. Не потому, что был похож. А потому, что был другим — так же, как она. Тоже чувствовал силу. Тоже слышал шёпот. Тоже не старел — или почти не старел. Они были сёстрами — не по крови, а по чему-то более важному. По судьбе. По дару. По одиночеству, которое делили на двоих.

Они учились вместе. Спали в одной комнате — в маленьком доме Алистера, на узких кроватях, поставленных рядом. Ели за одним столом. Ходили на озеро вдвоём — купаться, хотя вода была ледяной, и Варвара кричала от восторга, а Мира смеялась, глядя на неё. Они рассказывали друг другу всё. Всё. Абсолютно всё — свои страхи, свои мечты, свои тайны. Мира впервые в жизни открылась кому-то целиком — и это было страшно, и это было прекрасно, и это было так, как должно быть. Варвара была её сестрой. Её лучшей подругой. Её единственным человеком.

Мира помнила день, когда Варвара принесла ей заколку с лунным камнем, выменянную у цыганки на любимый платок.

Это было летом — жарким, душным, полным стрекота кузнечиков и запаха полыни. Они ходили на ярмарку в соседнее село — пешком, босиком, по пыльной дороге, — и там, среди пёстрых шатров и крикливых торговцев, Варвара увидела цыганку. Старую, смуглую, с глазами чёрными, как озеро. Цыганка продавала всякую всячину — бусы, кольца, ленты, — и среди всего этого хлама лежала заколка. Серебряная, с овальным камнем, который в свете солнца казался молочно-белым, как туман. Варвара замерла. Посмотрела на заколку. Потом — на цыганку. Потом — на Миру. И сказала: «Она твоя».

Она отдала за неё свой любимый платок — красный, с золотой каймой, тот самый, что носила не снимая, тот самый, что ей подарила мать. Отдала без колебаний. Без сожаления. Просто сняла с плеч и протянула цыганке. А потом взяла заколку — и вложила её в руку Миры. «Чтобы ты всегда помнила, — сказала она тогда, и Мира хранила эти слова, как никто ничего не хранил, — что светится в темноте».

Мира носила эту заколку с тех пор. Всегда. Триста с лишним лет. Она вплетала её в волосы каждое утро, и каждый вечер, снимая её, чувствовала, как что-то тёплое уходит из её дня. Заколка была не просто украшением. Она была памятью. Она была клятвой. Она была тем самым светом, который светится в темноте, — и Мира хранила её так, как хранят последнюю свечу в доме, где погасли все остальные.

Потом был вампир, красивый мужчина, тёмный в душе, в глазах которого пробежали золотые отблески, и Варвара смотрела на него так, будто прыгала в колодец и была рада падению.

Его звали Адриан Нокс — хотя тогда, триста лет назад, он называл себя иначе. Мира уже не помнила тем именем. Помнила только лицо. Красивое, породистое, с резкими скулами и тонкими губами, с глазами цвета старого золота, в которых что-то тёмное шевелилось на самом дне — медленно, сыто, как змея в тёплой воде. Он появился в Тихвине зимой — пришёл по льду чёрного озера, хотя лёд был тонким и никто, кроме него, не рискнул бы ступить на него. Пришёл один. Сказал, что путешествует. Сказал, что ищет знания. Сказал, что слышал о старом маге, который живёт на краю деревни. Алистер принял его — не потому, что доверял, а потому, что не мог отказать путнику в зимнюю стужу. Так было принято. Так было правильно. И это была ошибка.

Нокс остался на месяц. Потом на два. Потом на всю зиму. Он был обаятелен — чертовски, нечеловечески обаятелен. Он говорил мало, но каждое его слово падало в душу, как семя в плодородную землю. Он смотрел на людей так, будто видел их насквозь, — и людям это нравилось. Нравилось быть увиденными. Нравилось быть понятыми. Нравилось чувствовать, что кто-то — такой красивый, такой умный, такой древний — обращает на них внимание.

Варвара влюбилась в него с первого взгляда. Мира видела это — видела, как меняется подруга, как загораются её глаза, как дрожат её руки, когда Нокс входит в комнату. Видела — и молчала. Потому что Варвара была счастлива. А Мира никогда не видела её такой счастливой. Никогда — ни до, ни после. И Мира думала: может быть, это хорошо. Может быть, это то, что нужно Варваре. Может быть, этот красивый мужчина с золотистыми глазами — тот самый, кто сделает её счастливой навсегда.

Она ошибалась. Она ошибалась так, как не ошибалась никогда в жизни.

Варвара предала все их клятвы ради любви к Адриану Ноксу.

Это случилось весной — когда лёд на озере сошёл, когда воздух запахом пробуждением, когда мир, казалось, начинался заново. Мира заметила не сразу. Варвара стала другой — тише, скрытнее, задумчивее. Она больше не смеялась так громко. Больше не приходила по ночам в комнату Миры — поговорить, посекретничать, просто посидеть рядом. Она уходила куда-то — одна, по вечерам, — и возвращалась поздно, с пустым, отстранённым лицом. Мира спрашивала: «Что случилось?» Варвара отвечала: «Ничего». И отводила глаза. И Мира — дура, слепая дура, которая три года считала Варвару сестрой, — верила. Верила, потому что хотела верить. Потому что не могла представить, что сестра может врать.

А потом Варвара сделала то, чего Мира не могла простить до сих пор. Не предательство. Предательство можно простить. Можно понять. Можно найти ему оправдание. Но то, что сделала Варвара, не имело оправданий. Варвара передала Ноксу все секреты, что смогла узнать во время обучения у старого мага Алистера Рейвена. Всё, чему он их учил. Все слова силы. Все приёмы. Все тайны. Всё, что Алистер доверял им — не потому, что был обязан, а потому, что любил их, как дочерей. Всё, что делало их сильными. Всё, что делало их неуязвимыми.

Она отдала это чужому. Тёмному. Тому, кто пришёл по льду чёрного озера и остался, чтобы разрушить.

В частности, она тайно выкрала тот самый древний фолиант, содержащий по легендам невиданную силу.

Кодекс Эониума. Книга, которую Алистер хранил в своей комнате — в сундуке под кроватью, запертом на три замка, один из которых был магическим. Книга, о которой он говорил только шёпотом, только в темноте, только когда рядом не было никого, кроме Миры и Варвары. Книга, которая — Мира знала это теперь — была важнее всего остального. Важнее слов силы. Важнее приёмов. Важнее тайн. Потому что в ней была заключена сила, способная раскрыть то, что было скрыто от всех, — и, если бы Нокс получил её, мир изменился бы. Навсегда. Необратимо. К худшему.

Мира заметила это в самый последний момент.

Она не помнила, что её разбудило в ту ночь. Может быть, ветер. Может быть, тишина — слишком тихая, слишком плотная, как будто мир затаил дыхание. Может быть, что-то другое — то, что жило в ней и знало больше, чем она сама. Она открыла глаза в темноте, полежала секунду, слушая, и вдруг поняла: Варвары нет. Кровать рядом — пустая. Простыни смяты, но холодные. Давно ушла. Мира встала. Накинула платье — прямо на ночную рубашку, не думая, не соображая. Вышла из комнаты. Прошла по коридору — тихо, на цыпочках, хотя не знала, почему крадётся. И остановилась у двери в комнату Алистера. Дверь была приоткрыта. Внутри горел свет — слабый, дрожащий, как от свечи.

Мира заглянула внутрь — и увидела Варвару.

Варвара стояла на коленях перед сундуком. Сундук был открыт — все три замка сломаны, магический тоже, — и в руках Варвары был Кодекс. Она держала его бережно, почти благоговейно, как держат младенца. И она не слышала, как Мира вошла. Не видела, как Мира стоит в дверях. Не чувствовала ничего, кроме книги в своих руках.

— Варвара, — сказала Мира.

Варвара вздрогнула. Обернулась. И Мира увидела её лицо — бледное, осунувшееся, с тёмными кругами под глазами, — и её глаза. Ледяные серые глаза, которые когда-то смеялись, когда-то светились, когда-то любили. Теперь в них не было ничего. Ни стыда. Ни страха. Ни раскаяния. Только пустота. Только холод. Только чужое, тёмное, жадное что-то, что смотрело на Миру из глубины и не узнавало её.

— Отдай книгу, — сказала Мира.

— Нет, — ответила Варвара.

Мира сражалась с ней, и смогла отобрать этот фолиант в последний момент, но сама Варвара сбежала.

Это был не бой. Бой — это когда двое сходятся, чтобы победить. А то, что произошло в ту ночь, было чем-то другим. Чем-то более страшным. Чем-то более древним. Они стояли друг против друга — две женщины, которые три года делили кров, хлеб, тайны, мечты, — и между ними лежала книга. Книга, которая не принадлежала ни одной из них. Книга, за которую обе были готовы умереть.

Варвара ударила первой. Словом силы — тому самому, которому их учил Алистер. Слово сорвалось с её губ легко, привычно, как дыхание, — и синий огонь ударил в Миру, обжигая, ослепляя, сбивая с ног. Мира упала. Но поднялась. Потому что не могла не подняться. Потому что книга была важнее боли. Важнее страха. Важнее всего. Она ответила — тоже словом, тоже синим огнём, — и Варвара отшатнулась, и в её ледяных глазах мелькнуло что-то — не страх, нет. Удивление. Как будто она не ожидала, что Мира будет сопротивляться. Как будто она думала, что Мира сдастся. Как будто она забыла, кем была Мира. Кем они были друг для друга.

Они сражались долго — или, может быть, всего несколько минут, Мира не помнила. Время в ту ночь текло неправильно, как вода в чёрном озере, — то останавливаясь, то уско-

раясь, то исчезая вовсе. Слова силы летали между ними, как искры от костра. Тени метались по стенам, повинаясь то одной, то другой. Свеча давно погасла, и в комнате стало темно, и в темноте были только они — две женщины, две сестры, два мага, — и книга, лежащая на полу между ними.

Мира не помнила, как она победила. Помнила только, как Варвара вдруг отшатнулась — резко, неожиданно, — и как книга оказалась в руках Мира. Помнила, как Варвара посмотрела на неё — в последний раз, — и как в её глазах на мгновение мелькнуло что-то человеческое. Что-то, что было Варварой — прежней Варварой, той, что отдала свой любимый платок за заколку с лунным камнем. А потом это что-то исчезло. И Варвара — рыжая, смелая, смеющаяся Варвара, сестра по всему, кроме крови, — развернулась и выбежала вон. В ночь. В темноту. В ту самую темноту, которую она выбрала вместо света.

Мира не стала её догонять. Она стояла посреди разгромленной комнаты — с книгой в руках, с кровью на губе, с пустотой в сердце — и смотрела, как Варвара исчезает. И знала: она больше никогда её не увидит. Не потому, что Варвара умрёт. А потому, что та Варвара, которую она знала, — та, что смеялась, что мечтала, что любила, — умерла в ту ночь. Умерла, не успев родиться заново.

После этого случая Мира покинула мага, решив, что ей этот мир не подходит.

Она ушла через три дня. Алистер не пытался её удержать — он слишком хорошо её знал. Он только посмотрел на неё — своими серыми, прозрачными глазами, — и сказал: «Ты уверена?» Мира кивнула. «Я не могу здесь больше оставаться, — сказала она. — Всё, что здесь было, — ложь. Всё, что я здесь любила, — ложь. Я хочу забыть. Я хочу начать заново. Где-нибудь, где никто меня не знает. Где-нибудь, где нет ни магии, ни тайн, ни предательств». Алистер молчал. Потом сказал: «Хорошо. Но есть одно условие».

Она скрылась от всех, стала простым на первый взгляд человеком. Таким, каких все привыкли видеть на улицах города и не обращать внимания.

По желанию старого мага, она забрала с собой магический фолиант, так как, по словам мага, только она могла его по-настоящему защитить, и она это уже доказала.

Алистер пришёл к ней в ночь перед её уходом. Он принёс Кодекс — завернутый в тёмную ткань, перевязанный верёвкой, — и положил его на стол перед Мирой. «Возьми, — сказал он. — Он твой теперь». Мира посмотрела на него. «Почему?» — спросила она. «Потому что только ты можешь его защитить, — ответил Алистер. — Ты уже доказала это. Ты сражалась за него. Ты рисковала жизнью. Ты не отдала его врагу. Я знаю: ты справишься. Я знаю: ты сохранишь его. Я знаю: ты не используешь его во зло». Мира хотела возразить — сказать, что не хочет, что не может, что это слишком, — но Алистер поднял руку, останавливая её. «Слушай меня, Мирослава, — сказал он. — Этот фолиант — не просто книга. Это ответственность. Это бремя. Это крест, который ты будешь нести до конца своих дней — а твои дни, как ты знаешь, очень длинны. Но ты — единственная, кому я могу его доверить. Потому что ты — моя лучшая ученица. Потому что ты — та, в ком я вижу себя. Потому что ты — та, кто не сломается. Я верю тебе. Верю, как не верил никому. Не подведи меня».

Мира взяла Кодекс. Он был тяжёлым — тяжелее, чем должен был быть, — и тёплым, как живое существо. Она прижала его к груди и почувствовала, как внутри неё что-то отзывается — глухо, низко, как гудение улья. «Я сохраню его, — сказала она. — Обещаю». Алистер улыбнулся — редко, скуп. «Я знаю, — сказал он. — Теперь иди. И помни: где бы ты ни была, что бы ни случилось, — я всегда с тобой. Даже если ты меня не видишь. Даже если ты меня не слышишь. Даже если ты думаешь, что я умер. Я всегда с тобой».

Он ушёл в туман на следующее утро. Мира смотрела, как он тает — седой, высокий, с посохом из тёмного дерева, — и не плакала. Потому что не умела. Потому что разучилась. Потому что слёзы — это для тех, у кого есть время. А у неё времени было слишком много.

Триста лет она держала клятву — не использовать силу: меняла города, училась на фармацевта, на гувернантку, на телеграфистку, пока книги не позвали её окончательно.

Это была не клятва, данная кому-то. Это была клятва, данная себе. Она не пользовалась магией — почти. Она не светила синим, не подчиняла тени, не читала чужие мысли. Она была просто женщиной — серой, незаметной, обычной. Она училась всему, чему могла: фармацевтике, языкам, шитью, телеграфному делу. Она работала. Она жила. Она старалась не думать о том, кем была раньше. И это получалось — почти. Потому что иногда, ночью, когда она оставалась одна, слова силы всплывали в её памяти сами собой. Тени шевелились. Книги шептали. И Мира сжимала кулаки и заставляла себя забыть. Снова и снова. Год за годом. Десятилетие за десятилетием. Век за веком.

А потом книги позвали её окончательно. Это случилось в маленьком городке на севере — Мира уже не помнила, как он назывался. Она зашла в библиотеку — просто чтобы переждать дождь — и осталась там на сорок лет. Потому что книги пахли домом. Потому что тени в библиотеке были тихими и светлыми. Потому что здесь, среди мёртвых бумаг, она могла быть собой — и никто не задавал вопросов. С тех пор она была библиотекарем. Всегда. Везде. В каждом городе, в каждой стране, в каждом веке. Библиотека — это была её маска. Её убежище. Её дом.

Она знала, что рано или поздно Нокс найдёт её, потому что тьма всегда чует свет, если свет достаточно долго горит.

Она знала это с той самой ночи — когда стояла посреди разгромленной комнаты с книгой в руках и смотрела, как Варвара убегает в темноту. Знала, что Нокс не отступится. Не простит. Не забудет. Он искал Кодекс слишком долго — восемь веков, — чтобы просто так отказаться от него. Он найдёт её. Рано или поздно. Вопрос был только в том, когда.

Мира надеялась, что «рано или поздно» наступит через ещё триста лет. Что у неё будет время. Что она успеет подготовиться. Что она успеет — хотя бы — попрощаться с той жизнью, которую так любила. Но тень, удержавшая вазу, сказала ей всё честнее любого гороскопа. Тень, которая согнулась неправильно, — тень, которая послушалась её, но при этом была чужой, — сказала Мире: он здесь. Он рядом. Он уже нашёл. И ждать больше нечего.

Оторвавшись от воспоминаний, Мира вернулась с крыши внутрь библиотеки, достала с полки простую поваренную книгу в потрёпанном переплёте и сжала её в руке.

Она спустилась с крыши медленно — по той же крутой лестнице, через тот же пыльный чердак, по тем же скрипучим ступеням. В библиотеке было темно и тихо — только зелёные абажуры ещё горели в читальном зале, хотя Мира точно помнила, что гасила их. Она не стала гасить снова. Пусть горят. Пусть будет свет. Свет — это хорошо. Свет — это то, что светится в темноте.

Она подошла к стеллажу — к тому самому, где стояли книги по домоводству, кулинарные справочники, сборники рецептов. Она редко брала их. Они были скучными. Они были мёртвыми. Но сегодня ей нужна была именно такая — простая, обычная, незаметная. Она провела пальцами по корешкам — и остановилась на поваренной книге. Старой. Потрёпанной. В тёмно-коричневом переплёте, с выцветшим золотым тиснением: «Домашняя кухня». Мира взяла её. Книга была тяжёлой — тяжелее, чем должна была быть. Тяжелее, чем поваренная книга. Тяжелее, чем просто бумага и картон.

Из страниц поднялся слабый синий огонёк, ласковый, как ручной зверёк, и она усмехнулась.

Огонёк был маленьким — не больше язычка свечи. Он не жёг, не слепил, не пугал. Он просто был — тёплый, мягкий, живой. Он поднялся над страницами, покачался в воздухе, как будто принюхиваясь, — и потянулся к лицу Миры. Она не отшатнулась. Она позволила ему коснуться её щеки — легко, как касается крыло бабочки, — и почувствовала, как сила, живущая в книге, перетекает в неё. Медленно. По капле. По крупинке. Она не брала много

— только столько, сколько нужно. Только столько, чтобы вспомнить. Чтобы согреться. Чтобы понять: она всё ещё может. Она всё ещё сильна. Она всё ещё — та, кем была.

— Вот и вся моя армия, — сказала она. — Тише воды, ниже травы, и гораздо опаснее, чем кажется.

Она усмехнулась — невесело, но и не горько. Скорее с той самой суховатой иронией, которая была её единственной защитой от мира. Она стояла посреди тёмной библиотеки, держа в руках поваренную книгу, из которой поднимался синий огонь, — и думала о том, что это, пожалуй, самый нелепый вид оружия, какой можно себе представить. Не меч. Не посох. Не гримуар в кожаном переплёте с черепами на обложке. Поваренная книга. «Домашняя кухня». С рецептами пирогов и супов. С пометками на полях — чьими-то, давно умершими. С пятнами от масла и муки. С закладкой — старой, пожелтевшей, — на странице с рецептом яблочного пирога.

Мира закрыла книгу. Огонёк погас — нехотя, медленно, как будто ему не хотелось уходить. Она поставила книгу на место — на ту же полку, между «Сборником рецептов русской кухни» и «Консервированием для начинающих». И отошла на шаг. И посмотрела на полку — на эти обычные, скучные, ничем не примечательные книги, — и улыбнулась. По-настоящему улыбнулась. Впервые за долгое время.

Потому что она поняла: её армия — не в силе. Не в словах. Не в тенях. Её армия — в умении быть незаметной. В умении прятаться на виду. В умении быть той самой серой мышкой, которую никто не замечает, — а потом, когда придёт время, оказаться той, кто удержит вазу, кто согнёт тень, кто прочтёт слово силы так, что дрогнет земля. Триста лет она пряталась. Триста лет она притворялась. Триста лет она была тише воды, ниже травы. И это было не слабостью. Это было оружием. Самым страшным оружием из всех. Потому что никто не боится библиотекаря. Никто не ждёт удара от женщины в сером платье. Никто не думает, что поваренная книга может светиться синим.

Мира погасила лампы — все, одну за другой, — и пошла к лестнице. Поднимаясь в свою комнатку, она думала о том, что будет завтра. О том, что нужно сделать. О том, кого найти. О том, что сказать. Она не боялась. Странно — но она не боялась. Впервые за триста лет она чувствовала не страх, а что-то другое. Что-то твёрдое. Что-то холодное. Что-то, что было похоже на решимость.

Она поднялась в комнату, легла на узкую кровать — не раздеваясь, прямо в платье, — и закрыла глаза. Сон не придёт. Она знала. Но она полежит так. Просто полежит. Послушает, как дышит библиотека. Как шепчут книги. Как где-то внизу, в подвале, гудит Кодекс — низко, ровно, как дыхание спящего.

Завтра будет новый день и он принесет новые неожиданности.

Глава 4

Ярослав Одинцов приехал в город по объявлению, которое случайно увидел в какой-то газете: «Реставрация книг любой сложности, честность гарантирована, кофе при себе».

Объявление было маленьким — не больше спичечного коробка, — зажатым между рекламой средства от моли и заметкой о том, что в местном Доме культуры открывается кружок бальных танцев. Оно было напечатано мелким шрифтом, на сероватой бумаге, которая пахла типографской краской и чем-то ещё — чем-то пыльным, старым, чуть сладковатым, как пахнут газеты, которые долго лежали в чужих почтовых ящиках. Ярослав нашёл его случайно. По-настоящему случайно — не в том смысле, в каком люди говорят «случайно», а потом выясняется, что они искали именно это всю жизнь. А в самом прямом, скучном, будничном смысле: он ждал электричку, электричка опаздывала на сорок минут, он купил в киоске газету, чтобы

не смотреть в телефон, и на предпоследней странице, между молью и бальными танцами, увидел эти четыре строчки.

«Реставрация книг любой сложности, честность гарантирована, кофе при себе».

Он перечитал их три раза. Потом ещё раз. Потом сложил газету и убрал её в карман — не выбросил, не оставил на скамейке, а именно убрал, аккуратно, как убирают что-то важное. Электричка пришла через сорок минут, он сел в неё, доехал до своего города, вернулся в мастерскую, весь вечер чинил переплёт одного старого молитвенника — и всё это время думал об объявлении. Не о словах — о том, как они были написаны. Кто-то в этом незнакомом городе, которого Ярослав даже не мог найти на карте с первого раза, сидел и печатал — или писал от руки, а потом отдавал в набор — эти четыре строчки. И в этих строчках было столько... он не мог подобрать слова. Спокойствия? Уверенности? Насмешки? Да, пожалуй, насмешки. «Честность гарантирована» — так пишут люди, которые давно перестали верить в честность, но всё ещё на неё надеются. «Кофе при себе» — так пишут люди, которые знают: тот, кто придёт, останется надолго, и ему понадобится что-то согревающее.

Он был тридцати двух лет, роста выше среднего, с широкими плечами ремесленника и руками, умевшими обращаться с бумагой тоньше паутины.

Ростом Ярослав вышел в деда — метр восемьдесят шесть, если не сутулиться, а он сутулился редко, разве что над верстаком, когда работал. Плечи у него были широкие, тяжёлые, натруженные — не от спорта, а от ремесла: от того, что он двадцать лет поднимал стопки книг, держал тяжёлые прессы, таскал ящики с инструментами. Спина — прямая, чуть ссутуленная в верхней части, как у всех, кто много сидит над столом. Руки — вот на что он сам иногда смотрел с удивлением. Большие, широкие ладони, крепкие пальцы — руки человека, который привык работать с чем-то грубым, тяжёлым, неподатливым. Но подушечки пальцев у него были мягкими, почти нежными, как у пианиста, — и это было не случайно. Это была его гордость, его тайна, его ремесло. Двадцать лет он приучал свои пальцы к нежности. Двадцать лет он учился держать бумагу тоньше паутины так, чтобы не порвать её, не смять, не оставить на ней следа. Он умел чувствовать бумагу кончиками пальцев — чувствовать её возраст, её состав, её болезни. Он мог закрыть глаза, провести подушечками по странице — и сказать, в каком веке её отпечатали, на какой фабрике, из какого сырья. Это был не дар. Это был навык. Навык, отточенный до состояния интуиции.

Серые глаза, тёмные вечно растрёпанные волосы и улыбка с ямочкой — сочетание, от которого библиотекари соседнего города вздыхали, а Ярослав и не замечал.

Глаза у него были серые — не холодные, не стальные, а тёплые, какие-то дымчатые, как небо в конце октября, когда вот-вот пойдёт снег, но ещё не пошёл. В них была та самая мягкость, которая заставляет людей доверять с первого взгляда: смотреть в эти глаза и думать — этот не обманет. Волосы — тёмные, почти чёрные, густые, непослушные. Они вились на концах, не желали лежать, торчали в разные стороны, и сколько бы Ярослав их ни приглаживал — а он и не приглаживал, — они всё равно к середине дня превращались в творческий беспорядок на его голове. Он привык. Даже полюбил. «Меня можно узнать издали, — шутил он. — По причёске человека, который только что встал с постели и сразу сел за работу». И улыбка. Та самая. С ямочкой на левой щеке — одной, единственной, появлявшейся только тогда, когда он улыбался по-настоящему, от души, а не из вежливости. Из-за этой ямочки его лицо становилось мальчишеским, почти озорным, и женщины — не только библиотекари соседнего города, но и продавщицы в булочной, и фельдшер в поликлинике, и даже строгая заведующая отделением в местном музее — вздыхали, глядя на него, и говорили потом подругам: «Он такой... простой. И такой... настоящий». Ярослав этого не замечал. Совершенно, абсолютно, стопроцентно не замечал. Он вообще замечал мало — из тех людей, кто смотрит в книгу и не видит, что вокруг него рушится мир.

Он вырос у деда-подмастерья, научился любить книги раньше, чем читать, и с тех пор считал каждую спасённую страницу маленькой победой над временем.

Деда его звали Николай Петрович, и он был переплётчиком — из тех старых мастеров, которые начинали ещё в артелях, а заканчивали в маленьких мастерских на дому, с запахом клея и кожи, с верстаком у окна, с иглой в руке. Ярославу было четыре года, когда мать привезла его к деду — «на недельку», как она сказала, — и остался он там навсегда. Неделя растянулась в годы, годы — в детство, детство — в юность. Дед был неразговорчив. Он мог целый день просидеть за верстаком, не сказав ни слова, — только шитьё, только скрип кожи, только шелест страниц. И Ярослав сидел рядом. Сначала просто сидел — на полу, с игрушечной машинкой, — потом начал смотреть, потом начал помогать, потом начал работать. Дед не учил его словами. Дед учил руками. «Смотри, — говорил он, протягивая ему кусок старой кожи. — Чувствуешь? Она живая. Она помнит. Если ты её не пожалеешь — она тебе не простит». Ярослав не понимал тогда. Понял позже — когда сам начал чувствовать, как отзывается бумага на его пальцы, как теплеет кожа под его ладонью, как книга — настоящая книга, старая, потрёпанная, — вдруг затихает в его руках, будто узнала своего.

Он научился любить книги раньше, чем читать. Это была чистая правда. Читать он начал лет в семь — поздно, потому что в деревне, где они жили, не было ни школы рядом, ни библиотеки. Но книги он знал задолго до этого. Знал их запах — десятки запахов: старого пергамента, нового клея, пыльной бумаги, кожи, чернил. Знал их вес — от невесомого томика стихов до тяжёлого фолианта, который и поднять-то было непросто. Знал их голоса — да, голоса. Он слышал, как книги шепчут. Не словами — шорохом страниц, скрипом переплёта, тихим потрескиванием, когда раскрываешь их слишком резко. Дед говорил: «Это они разговаривают. С тобой. Слушай». Ярослав слушал. И слышал. И с тех пор — с самого детства — считал каждую спасённую страницу маленькой победой над временем. Потому что время — он понял это очень рано — было врагом. Время сушило бумагу, ломало корешки, выцветало чернила, точило кожу жучками, покрывало страницы пятнами, разрывало их, сминало, превращало в труху. А он, Ярослав, стоял на другой стороне. Он был мальчиком, который воевал со временем — и побеждал. Каждая подклеенная страница. Каждый восстановленный корешок. Каждый спасённый том. Маленькие победы. Но из них складывалась жизнь.

Жизнь у него была не сказка: мать умерла рано, отец ушёл в другую семью, а первую и единственную большую любовь Ярослав потерял пять лет назад — нет, не смертью, просто она сказала, что он «слишком простой».

Мать он помнил смутно — запах духов, тёплые руки, голос, который пел ему что-то на ночь. Она умерла, когда ему было шесть. Он не помнил похорон, не помнил слёз — помнил только, как дед впервые взял его за руку и повёл в мастерскую, и сказал: «Будешь работать. Работа лечит». Он работал. С шести лет. Сначала подавал инструменты. Потом клеил. Потом шил. Работа не вылечила — но она дала ему то, что не мог дать никто: смысл. Смысл вставать утром, смысл сидеть вечерами над верстаком, смысл жить.

Отец ушёл ещё раньше — когда Ярославу было три. Просто уехал в город «на заработки» — и не вернулся. Потом, годы спустя, объявился: приехал как-то на праздник, в новом костюме, с новой женой и двумя детьми. Ярославу было тогда пятнадцать. Он стоял в дверях дедовской мастерской, смотрел на отца — чужого, лощёного, довольного, — и не чувствовал ничего. Ни злости, ни обиды, ни тоски. Только пустоту. Отец сказал: «Ну, здравствуй, сын». Ярослав сказал: «Здравствуйте». И закрыл дверь. Больше они не виделись. И Ярослав не жалел. Он давно понял: семья — это не те, кто тебя родил. Семья — это те, кто остался. А остался только дед. И книги. И верстак. И этого ему хватало.

А потом была Аня. Анна Сергеевна Тихомирова — учительница литературы, которая пришла к нему однажды с потрёпанным томиком Чехова и попросила переплести. Ей было двадцать шесть. Ему — двадцать семь. Она была тоненькая, светлая, с короткой стрижкой и

глазами цвета чая. Она смеялась над его шутками — над всеми, даже над самыми глупыми. Она приходила в мастерскую каждый день, «чтобы проверить, как продвигается работа», — хотя работы там было на два часа, и оба это знали. Она говорила с ним о книгах. О стихах. Она любила его — или ему так казалось. Ему так хотелось, чтобы казалось. Они были вместе четыре года. Четыре года — это много. Четыре года — это почти жизнь. Он привык к ней. Он привык к тому, что кто-то ждёт его вечером. Привык к тому, что кто-то звонит ему днём. Привык к тому, что кто-то смеётся его шуткам. Привык к тому, что он — не один.

А потом она ушла. Просто ушла. Без скандала, без слёз, без объяснений. Собрала вещи — не все, только свои, — и сказала на прощание одну фразу. Одну-единственную. «Прости, Ярослав. Ты слишком простой. С тобой... с тобой не о чем мечтать». Он не понял тогда. Не понимает и сейчас. Что значит — простой? Что значит — не о чем мечтать? Он сидел на полу своей мастерской, среди стопок книг, которые надо было починить, и смотрел на закрытую дверь, и не мог понять. Он не был глупым. Он не был скучным. Он был... он был собой. Мальчиком, который вырос у деда. Мужчиной, который любил свою работу. Человеком, который умел держать бумагу тоньше паутины, но не умел держать женщину, которая от него уходила.

Он переживал это долго — дольше, чем следовало. Год, может, полтора. Потом научился смеяться. Научился шутить. Научился говорить: «Моё сердце сдано на хранение, как редкий том, — до лучших времён». Это была хорошая шутка. Люди смеялись. Он тоже смеялся. Только иногда, поздними вечерами, когда он оставался один в мастерской, среди книг, он ловил себя на том, что смотрит на дверь — и ждёт, что она откроется. Она не открывалась. Ни через год, ни через два, ни через пять. С тех пор он не заводил серьёзных отношений. Не потому, что не мог. А потому, что не хотел. Он боялся. Боялся снова услышать: «ты слишком простой». Боялся снова открыться — и снова остаться один.

Увидев то объявление, он почувствовал то самое, что чувствовали искатели, видя карту с крестиком.

Это было странно. Нелепо. Он взрослый человек, тридцать два года, реставратор с двадцатилетним стажем, — и вдруг сидит в электричке, сжимает в руке сложенную газету, как мальчишка сжимает билет на первый в жизни концерт. Сердце у него билось быстрее, чем должно было. Ладони вспотели. В горле стоял комок. Он злился на себя, говорил себе: «Успокойся, дурак. Это просто объявление. Это просто город. Это просто работа». Но что-то внутри — что-то, что жило глубже слов, глубже разума, глубже всего, — уже знало. Уже приняло решение. Уже собирало рюкзак.

Он почувствовал, что это именно то, что он искал.

Он искал долго. Всю жизнь. Не объявление — работу. Не работу — место. Не место — дом. Он не мог объяснить этого словами, но он чувствовал это каждой клеткой своего тела: где-то есть место, где ему будет хорошо. Где-то есть город, где его будут ждать. Где-то есть люди — или человек, — которые поймут его без слов. Где-то есть жизнь, которая сложится так, как должна сложиться, — не потому, что он будет стараться, а потому, что так правильно. Он искал это место годами. Ездил в другие города. Отвечал на другие объявления. Менял мастерские. Пробовал. И каждый раз возвращался в свой маленький городок, в свою маленькую мастерскую, к деду — нет, деда уже не было, дед умер, когда Ярославу было двадцать пять, — к своему верстаку, к своим книгам. И каждый раз понимал: не то. Не там. Не то место. Не то время. Не та жизнь.

А потом — это объявление. Эти четыре строчки. Этот город, которого нет на карте. Это чувство — острое, почти болезненное, как удар током. Он вспомнил, как в детстве дед рассказывал ему про старых мастеров: «Они ходили по городам и искали. Не работу — судьбу. И когда находили — оставались навсегда». Тогда Ярослав смеялся. Сейчас — не смеялся. Сейчас он сидел в электричке и понимал: он тоже ищет. И, кажется, нашёл.

Но он ошибался. Это было больше, чем он ожидал. Это была его судьба.

Он не знал этого тогда. Не знал, когда собирал рюкзак. Не знал, когда прощался с мастерской — снял с гвоздя дедовский резак, завернул его в тряпицу, положил на дно. Не знал, когда покупал билет на поезд — плацкарт, боковое место, потому что деньги были не лишними. Не знал, когда ехал тринадцать часов, глядя в окно на поля, на деревни, на редкие станции, на мир, который проплывал мимо и не обещал ничего. Не знал, когда вышел на перрон маленького вокзала — с облупившейся краской, с одиноким фонарём, с табличкой, на которой было написано название города, которое он тут же забыл. Не знал, когда шёл по улицам — мокрым, пустым, серым, с домами в два этажа, с палисадниками, с редкими прохожими, которые смотрели на него с любопытством, но без враждебности. Не знал, когда искал библиотеку — спрашивал дорогу у старушки с сумкой на колёсиках, у мальчика с велосипедом, у продавщицы в ларьке. Не знал, когда наконец увидел её — старую, серую, с высокими узкими окнами и дубовыми дверями, на углу Печниковой улицы.

Он ещё не знал.

Но судьба — судьба уже знала. Судьба уже ждала. Судьба стояла за этими дубовыми дверями, в сером платье, со старинной заколкой в волосах, — и не подозревала, что сегодня к ней придёт тот, кто останется. Не на год. Не на десять лет. Навсегда. На всю его человеческую жизнь — и, может быть, на что-то большее.

Утром он постоял перед тяжёлыми дубовыми дверями, поправил рюкзак с инструментами и загадал себе: если внутри есть хоть одна книга старше двухсот лет, он остаётся.

Это была глупость. Он понимал, что это глупость. Тридцать два года, взрослый мужик, а ведёт себя, как мальчишка, который загадывает на звёзды. Но он всё равно постоял. Всё равно поправил рюкзак — привычным движением, дёрнув лямку на левом плече. Всё равно посмотрел на двери — тяжёлые, дубовые, с потускневшими латунными ручками, с выцветшей табличкой, на которой было написано что-то, что он не смог прочитать из-за дождя. И всё равно загадал.

Он не верил в приметы. Не верил в гадания. Не верил в судьбу — до этого утра. Но что-то в нём — то самое, что жило глубже слов, глубже разума, глубже всего, — подсказывало: это важно. Это не просто работа. Это не просто город. Это выбор. И если он сейчас войдёт — и если внутри окажется то, что он ищет, — он останется. Навсегда.

Книг старше двухсот лет там оказались сотни, и Ярослав снял невидимую шляпу перед судьбой.

Он вошёл — и сразу понял. Ещё до того, как увидел книги. Ещё до того, как осмотрелся. Ещё до того, как сделал второй шаг. Потому что воздух внутри был другой. Не такой, как на улице — мокрый, серый, промозглый. А другой: тёплый, сухой, чуть пыльный, с запахом старой бумаги, старого клея, старого дерева. Он пах домом. Он пах дедовской мастерской. Он пах тем, чего Ярослав не чувствовал уже семь лет — с тех пор, как умер дед.

Он закрыл за собой дверь — тихо, осторожно, как закрывают дверь в храме, — и пошёл вперёд. Мимо стеллажей. Мимо высоких полок, уходящих под потолок. Мимо книг — сотен, тысяч, десятков тысяч книг, — и с каждым шагом его сердце билось чаще. Он видел их. Видел корешки — потрескавшиеся, выцветшие, разорванные. Видел переплёты — кожаные, коленкоровые, картонные. Видел страницы — пожелтевшие, с заломами, с пятнами, с закладками. Он видел то, что искал всю жизнь. Не книги — нет. Книги были везде. А вот это — это было только здесь.

Он остановился посреди зала и медленно, очень медленно, снял невидимую шляпу. Не буквально — он не носил шляп, — но где-то внутри, в самом центре его существа, что-то сделало это движение. То самое движение, которое делают люди, когда оказываются перед чем-то, что выше их. Перед чем-то, что больше их. Перед чем-то, что заслуживает уважения. Он

снял невидимую шляпу перед судьбой — и судьба, кажется, заметила это. Потому что через мгновение он увидел её.

Он ещё не знал, что старше двухсот лет там были не только книги.

Она стояла у стеллажа с русской классикой. Спинной к нему. В сером платье. С низким пучком на затылке. С заколкой — серебряной, с овальным камнем, который в свете зелёных ламп казался молочно-белым, как туман. Она держала в руках книгу — потрёпанный том, — и водила по нему пальцами: не читала, а именно водила, как водит рука по чему-то дороговому, что давно стало частью тебя. Ярослав замер. Он не знал, почему. Не понимал, что его остановило. Не мог объяснить, что произошло в тот момент — в ту секунду, когда он увидел её спину, её пучок, её заколку. Он просто замер. И стоял.

А потом она обернулась.

Их первая встреча началась не со слов. Она началась со взгляда.

Мира обернулась — медленно, спокойно, как оборачиваются люди, которые давно перестали бояться неожиданностей. И Ярослав увидел её лицо. Спокойное. Красивое. Очень красивое — не той яркой, броской красотой, от которой перехватывает дыхание, а другой: глубокой, тихой, той, что не бросается в глаза, но остаётся в памяти навсегда. Голубые глаза за скромными очками в тонкой серебряной оправе. Тонкие губы, чуть тронутые улыбкой — не приветливой, а сдержанной, вежливой, чуть насмешливой. Она смотрела на него — и в её взгляде было что-то такое... Ярослав не мог подобрать слова. Внимание? Да. Наблюдательность? Да. Но было и что-то ещё. Что-то, от чего у него по спине пробежал холодок — не неприятный, а странный. Как будто она видела его насквозь. Как будто она знала о нём всё — всё, что он сам о себе знал, и ещё немного больше.

А он смотрел на неё. И тоже не мог отвести глаз. Он видел: серое платье, скромное, бесформенное, — но под ним угадывалась фигура, которой позавидовала бы любая. Он видел: руки, спокойные, длинные, с тонкими пальцами, — руки человека, который всю жизнь работал с чем-то хрупким. Он видел: заколку. Ту самую. Серебряную, с лунным камнем. И в этой заколке — он не знал почему — было что-то такое, от чего у него сжалось сердце. Как будто он уже видел её когда-то. Как будто она была частью чего-то, что он давно искал, но не мог найти.

Они смотрели друг на друга, наверное, всего секунду. Может, две. Может, три. Но Ярославу показалось — целую вечность. Время в этой библиотеке текло иначе. Оно было гуще. Оно было медленнее. Оно было — как вода в чёрном озере.

Потом Мира заговорила. И голос у неё был — тоже спокойный. Тихий. Ровный. Чуть хриловатый, как у человека, который давно ни с кем не разговаривал, но не потерял этого умения.

— Доброе утро, — сказала она. — Вы ищете что-то конкретное?

Ярослав моргнул. Как будто очнулся. Как будто вышел из воды на берег — и снова услышал мир.

— Доброе, — сказал он. И осекся. Потому что голос у него сорвался. Как у мальчишки. Как у подростка, который впервые говорит с девочкой. Он откашлялся. — Простите. Доброе утро. Я... я по объявлению.

Мира чуть наклонила голову — набок, как делают птицы, когда слушают. В её глазах мелькнуло что-то — не удивление, не радость, а что-то другое. Что-то, что она тут же спрятала.

— По объявлению, — повторила она. — «Реставрация книг любой сложности, честность гарантирована, кофе при себе»?

— Да, — сказал Ярослав. — Это я. То есть... я откликнулся. На объявление. Я реставратор. Ярослав Одинцов.

Он сказал это — и снова осекся. Потому что понял, что говорит слишком быстро. Слишком много. Слишком нервно. Он, взрослый мужик, стоял перед этой женщиной в сером платье и чувствовал себя школьником. Он не понимал, почему. Не понимал, что с ним происходит.

Не понимал, откуда взялось это — это странное, тёплое, чуть щемящее чувство в груди. Как будто он пришёл домой после долгой дороги. Как будто он нашёл то, что искал.

Мира молчала. Она смотрела на него — долго, внимательно, чуть прищурившись, — и в её взгляде было что-то такое, от чего Ярославу захотелось выпрямиться. Убрать с лица улыбку. Стать лучше. Стать тем, кем он на самом деле был, — не ремесленником в мокрой куртке, не мальчиком с растрёпанными волосами, а мужчиной. Настоящим. Стоящим.

— Ярослав, — повторила она. — Красивое имя.

— Спасибо, — сказал он. — Меня дед так назвал. В честь... не знаю. Просто нравилось.

— Дед?

— Он был переплётчиком. Ну, мастером по переплёту. Он меня всему научил. Я с шести лет в мастерской.

Мира снова чуть наклонила голову. И — Ярослав мог бы поклясться — в её глазах мелькнула тень улыбки. Настоящей, не вежливой. Той самой, которую она прятала.

— Значит, вы из тех, кто учился руками, а не по книжкам, — сказала она.

— Из тех, — сказал Ярослав. И вдруг — сам не ожидая — улыбнулся. По-настоящему. С ямочкой. — Я вообще книги люблю больше людей. С ними проще.

Мира посмотрела на него — и что-то в её лице изменилось. Не сильно. Едва заметно. Но изменилось. Как будто она что-то решила. Как будто она что-то узнала. Как будто она увидела в нём — не то, что видела в других.

— Что ж, Ярослав, — сказала она. — Пойдёмте. Я покажу вам, что у нас есть.

Она поставила книгу на полку — аккуратно, привычно, как ставят на место что-то дорогое, — и пошла вперёд. Вглубь библиотеки. Мимо стеллажей, мимо полок, мимо тысяч книг. Ярослав пошёл за ней. И всё это время — пока они шли — он смотрел на её спину. На серое платье. На низкий пучок. На заколку — серебряную, с лунным камнем. И чувствовал, как в груди у него что-то теплеет. Что-то, что он давно считал потерянным. Что-то, что он — пять лет назад — запер на замок и убрал на дальнюю полку, как редкий том. Что-то, что он называл сердцем.

Он ещё не знал, что старше двухсот лет там была и сама библиотекарша.

Он не знал этого. Не знал, что женщина, идущая перед ним, — не обычная библиотекарша. Не знал, что за её спокойным лицом скрывается триста лет жизни. Не знал, что заколка в её волосах — не бабушкино наследство, а подарок подруги, который она носит уже триста двенадцать лет. Не знал, что в подвале этой библиотеки, за железной дверью, под магической печатью, лежит книга, из-за которой его судьба — его судьба, о которой он ничего не знал, — уже сделала свой первый шаг навстречу ему.

Он не знал ничего.

Но когда они дошли до читального зала, и Мира остановилась, и повернулась к нему, и посмотрела на него своими голубыми глазами — спокойно, внимательно, чуть насмешливо, — Ярослав понял одно. Одно-единственное. То самое, что знал с самого начала, с того самого момента, как увидел объявление в газете.

Он остаётся.

Не потому, что здесь были книги старше двухсот лет. Хотя были. Сотни. Тысячи. Не потому, что здесь была работа. Хотя была. Не потому, что здесь было то, что он искал. Хотя — было.

А потому, что здесь была она. Женщина в сером платье. Женщина с заколкой. Женщина, которая посмотрела на него так, как не смотрел на него никто и никогда. Женщина, которая — он не знал этого, но чувствовал — была его судьбой.

— Ну? — сказала Мира. — С чего начнём?

Ярослав поправил рюкзак на плече. Улыбнулся — с ямочкой. И сказал:

— С самого старого. У вас ведь есть что-нибудь... старше двухсот лет?

Мира чуть приподняла бровь. И — в первый раз за всё утро — улыбнулась по-настоящему.

— Есть, — сказала она. — Много. Пойдёмте.

И они пошли. Вглубь библиотеки. К книгам. К тайнам. К судьбе.

Глава 5

Мире он понравился сразу, но виду она, конечно же, не подала.

Это было первое, чему её научил Алистер — не словам силы, не управлению тенями, не чтению чужих мыслей. А умению молчать. «Твоё лицо — это твоя дверь, Мирослава, — говорил он, когда они сидели на берегу чёрного озера, и вода у их ног была такой тёмной, что в ней не отражалось даже небо. — И ты сама решаешь, кого в эту дверь впускать. Никогда не показывай, что ты чувствуешь. Не потому, что чувства — это слабость. А потому, что чувства — это карта. Тот, кто видит твою карту, знает, где у тебя сокровище. И знает, куда бить».

Мира усвоила этот урок так хорошо, что иногда сама себя не могла поймать на месте преступления. Она умела стоять перед человеком, который только что сказал ей что-то, от чего внутри всё переворачивалось, — и не моргнуть. Умела смотреть в глаза тому, кто её ненавидел, — и не дрогнуть. Умела улыбаться, когда хотелось кричать, и молчать, когда хотелось говорить. Триста лет — это очень хорошая школа. Лучшая из всех.

Но это было первое, чему она научилась. А второе — и, пожалуй, самое важное — было умение врать самой себе.

Потому что, когда Ярослав Одинцов вошёл в её библиотеку — мокрый, взъерошенный, с рюкзаком на одном плече и с этой своей нелепой, мальчишеской, совершенно неуместной улыбкой, — Мира посмотрела на него и подумала: «Ничего особенного».

Она соврала. Себе. И даже не покраснела — потому что разучилась.

Она с удовольствием показывала ему свои владения.

Этого она не стала скрывать — в конце концов, показывать библиотеку было частью работы, и врать тут было нечего. Она повела его между стеллажами — медленно, размеренно, тем особым шагом, каким ходят по музеям и по кладбищам, — и говорила. Говорила ровно, по-деловому, как говорят с подчинённым или с подрядчиком.

— Здесь у нас русская классика. Три тысячи двести томов, если считать брошюры. Слева — литература девятнадцатого века, справа — двадцатого. Половина требует переплёта, четверть — реставрации страниц, остальное... — она запнулась, подбирая слово. — Остальные просто просят, чтобы их не трогали.

— Просят? — переспросил Ярослав.

Мира бросила на него быстрый взгляд. Обычно на этом месте люди улыбались — снисходительно, как улыбаются чужакам, — или не замечали вовсе. Он не улыбнулся. Он смотрел на неё так, будто она сказала что-то совершенно естественное.

— Просят, — повторила она, чуть суше, чем собиралась. — Книги, Ярослав, как старики. У них есть свои капризы. И своё достоинство.

— У стариков есть, — согласился он. — Я это знаю. У меня дед был такой. Он последние два года жизни не позволял переставлять свою кружку с одного места на другое. Говорил: «Она уже привыкла».

Мира не ответила. Но что-то в ней — что-то, что жило глубоко, под слоями выдержки, — чуть шевельнулось. Как шевелится пыль, когда открываешь окно.

Ярослав шёл между стеллажами с открытым ртом, и Мира снисходительно подумала, не веря в его искренность в любви к книгам, что вот ещё один любитель пыли и старины.

Она видела таких много. Сотни, тысячи — за триста лет. Приходят, охают, вздыхают, водят пальцами по корешкам, произносят «ах, какая старина», «ах, какая прелесть», «ах, я обожаю запах старых книг» — и уходят через месяц. Потому что запах старых книг — это одно, а плесень в хранилище, крысиный помёт в подвале, разъеденные жучком страницы и артрит в пальцах после восьми часов шитья — совсем другое. Любители старины любят старину на картинках. В переплёте, в бархате, в мягком свете лампы. Они не любят старину, которая пахнет, которая крошится, которая кашляет пылью в лицо и требует, требует, требует.

Она смотрела, как он идёт. Отмечала всё — привычкой, от которой не могла избавиться. Как он держит руки: не за спиной, не в карманах, а чуть на весу, будто боится задеть. Как он наклоняет голову, когда читает корешок, — чуть вбок, как читают близорукие, которые не носят очки. Как он останавливается у полок, но не трогает, а именно замирает в полушаге — так, как замирают люди, которых когда-то учили не хватать чужое. Как он дышит. Как он молчит. Как у него шевелятся пальцы — едва-едва, будто он мысленно уже что-то делает: подклеивает, подшивает, разглаживает.

«Хорошая маска, — подумала Мира с прохладцей, которую сама в себе ценила. — Профессиональная. Он или действительно мастер, или действительно хороший обманщик. В обоих случаях — на месяц».

— Вот здесь у нас зал периодики, — сказала она вслух. — Газеты, журналы, подшивки. Тут работы непечатый край: всё рассыпается. Но это, к сожалению, не приоритет. Приоритет — вот это.

Она остановилась у тяжёлой деревянной двери, вынула из кармана ключ и открыла её. За дверью оказалось помещение — продолговатое, с низким потолком, с окнами, забранными решёткой, и с полками, уходящими в сумрак.

— Здесь редкий фонд, — сказала Мира. — Здесь я вас без присмотра не оставлю, Ярослав. И не потому, что я вам не доверяю. А потому, что здесь есть книги, которых не должно касаться ничто — ни пыль, ни воздух, ни настроение. Если вы войдёте сюда в плохой день, вы это почувствуете. А они почувствуют вас.

— Я войду, — сказал он.

Мира прищурилась.

— Что?

— Я войду, — повторил Ярослав, и в голосе у него не было ни бравады, ни шуток — только спокойная, ровная уверенность. — В плохой день. Если надо. Просто скажите.

Мира смотрела на него секунды три. Потом закрыла дверь и повернула ключ.

— Посмотрим, — сказала она. — Пойдёмте дальше.

Ярослав подошёл к стойке, положил на неё аккуратную папку с рекомендациями, и Мира подняла глаза — а он уже смотрел на неё.

Они вернулись в читальный зал — тот самый, с зелёными абажурами, с высокими окнами, с запахом, который Мира любила больше всего на свете. Она села за стойку — на своё привычное место, за которым провела, кажется, половину своей бессмертной жизни. Он подошёл. Не к стеллажам — к ней. И положил на стойку папку. Тонкую, картонную, обёрнутую в тёмно-серую бумагу. Аккуратную. Он явно не собирал её утром впопыхах — она была собрана заранее, дома, ещё в другом городе, ещё до билета, ещё до поезда. Мира заметила это машинально: уголки ровные, подшивка скрепочная, надпись на корешке — каллиграфическим почерком, тем старомодным, чуть наклонным, каким пишут люди, учившиеся писать от руки, а не на клавиатуре.

«Ярослав Одинцов. Реставрация и переплёт. Портфолио».

Мира положила на папку ладонь — жест был привычный, деловой, — и подняла глаза, чтобы посмотреть на него и сказать что-нибудь про «рассмотрю в ближайшее время». Это была

стандартная фраза. Она говорила её десятки раз, разным людям, в разных городах, в разных веках.

Но она не сказала её.

Потому что Ярослав смотрел на неё.

Не на книги. Не на папку. Не на заклочку — хотя заклочка была в волосах и обычно притягивала взгляды, как магнитом. На неё. Прямо. Открыто. Без жадности, без нахальства, без того липкого интереса, с которым смотрят мужчины на красивых женщин. И без той профессиональной вежливости, с которой смотрят на начальство.

Он смотрел так, будто искал это лицо очень давно и вот наконец нашёл.

Мира знала этот взгляд. О, она знала его прекрасно — потому что видела его на лицах триста лет назад, в деревне у чёрного озера, когда старый маг с глазами цвета зимнего неба впервые посмотрел на деревенскую девчонку и сказал: «Это ты. Я тебя искал». Она знала, как выглядит человек, который нашёл. И вот теперь этот взгляд — этот самый взгляд — был обращён к ней. От какого-то реставратора книг. С мокрыми волосами. С ямочкой. С серыми глазами, в которых не было ничего, кроме неё.

Он не отвёл глаз. И она — Мира Белинская, Мирослава, старшая ученица Алистера Рейвена, женщина, которая триста лет не теряла лица, — не отводила тоже.

Прошло, наверное, пять секунд. Может, шесть. Может, семь. В читальном зале было тихо, и в этой тишине было слышно, как тикают старые часы в холле — те самые, что всегда отставали на семь минут.

Потом Ярослав сказал:

— Тут резюме, рекомендации и фотографии работ. Там есть пара сложных случаев — Евангелие 1789 года и альбом с гравюрами, сгоревший наполовину. Я в Вологде с ним полгода возился.

— Полгода? — переспросила Мира, и голос у неё, слава всем богам, прозвучал ровно.

— Он был мокрый, — сказал Ярослав. — Горел и его тушили водой. Знаете, что самое страшное для бумаги? Не огонь. Огонь — это финал. А вот вода, которой тушат, — это уже по живому. Она заходит в структуру, и потом страница идёт волной. Если не разобрать вовремя — всё, она уже никогда не будет плоской.

Мира стряхнула ощущение с привычной холодной вежливостью.

Это было почти физическое движение — как смахивают пылинку с рукава. Внутри она сделала то же самое: собрала всё, что шевельнулось, всё, что отозвалось, всё, что поднялось из глубины, — и смахнула. Осторожно, но твёрдо. Как смахивают крошку с раскрытой страницы: не резко, чтобы не порвать, но уверенно, чтобы убрать.

— Действительно, — сказала она вслух. — Мокрая бумага страшнее пожара. Пожар — это быстро. А вода — это медленная смерть.

— Медленная смерть — это вообще самая страшная вещь на свете, — сказал Ярослав. И тут же, будто спохватившись, улыбнулся. — Извините. Я не о том. Это профессиональное. Реставраторы — как врачи. Мы всё время думаем о том, что может пойти не так.

— И всё время думаете об этом вслух?

— Только когда рядом человек, который понимает.

Мира чуть приподняла бровь. Но внутри — глубоко-глубоко — что-то ёкнуло. Старое. Забытое. Как струна на старом музыкальном инструменте в заброшенном доме.

Она бы не смогла объяснить это, даже если бы захотела. Это было не чувство — это было ощущение. Что-то, что жило в ней на уровне тела, а не мысли. Как будто в ней, в её груди, в её горле, в её пальцах, — там, где, как ей казалось, давно уже ничего не осталось, кроме усталости, — натянулась струна. Одна. Тонкая. Едва слышная. И кто-то — очень осторожно, очень бережно, почти случайно — тронул её.

Струна дрогнула. И в этом дрожании было столько всего, что Мира испугалась.

Потому что в заброшенном доме, где давно не жили, где окна забиты досками, где полы покрыты слоем пыли такой толщины, что по ней не пройти без следов, — струна не должна звенеть. Она не должна отзываться вообще. Она должна молчать. И то, что она отозвалась сейчас — от случайного прикосновения незнакомого мужчины, от его слов про мокрую бумагу, от его серых глаз, — было неправильно. Было опасно. Было, если называть вещи своими именами, катастрофой.

Триста лет она обходила такие дома стороной. Триста лет она не открывала эти двери.

И вот, пожалуйста. Пришёл реставратор. С папкой.

«Соберись, Мирослава, — сказала она себе, и голос у неё в голове был холодным и злым, как сквозняк. — Тебе триста лет. Ты видела империи. Ты видела, как умирали города. И ты будешь краснеть из-за того, что какой-то мальчик сказал тебе про бумагу? Держи себя в руках».

Она и держала.

Ярослав говорил о реставрации, сроках, клеях и щётках, а Мира слушала и думала, что голос у него тёплый, как летний вечер, и это катастрофически неуместно.

Он говорил уже минут десять — и всё это время Мира не перебивала. Она сидела, положив ладони на папку, чуть наклонив голову, и слушала. И чем дольше слушала, тем хуже ей становилось — потому что она не могла не признать: он говорил хорошо. Не гладко — гладко говорят продавцы и политики. А точно. Скупое. По делу. Он называл клеи — «ПВС», «метилцеллюлоза», «крахмал для особо тонких сортов», — и для каждого у него было обоснование: почему этот, почему не тот, где он не подведёт, где через пятьдесят лет может дать усадку, где даст усадку обязательно, и что тогда делать. Он говорил о щётках — что для пыли нужна одна, для плесени другая, и что щётку из синтетики к старой бумаге лучше не подносить вообще, потому что она электризуется и бумага тянется за ней, как живая. Он говорил о реставрации корешков, о шитье на шнуры и на тесьму, о том, что старые книги шили на «умный шов», который позволял им открываться плоско, и что сейчас так уже почти никто не умеет, и что он умеет, потому что дед заставлял.

— Дед заставлял, — повторила Мира. — То есть вы это делаете не потому, что хотите, а потому, что заставляли?

Она задала этот вопрос нарочно. С подвохом. Потому что таким вопросом она проверяла всех: если человек начинал оправдываться — значит, не своё. Если начинал злиться — значит, есть что скрывать. Если молчал — значит, думает.

Ярослав не стал оправдываться. И не стал злиться. Он подумал — Мира видела, как он подумал, как у него на секунду остановился взгляд, — и ответил:

— Он заставлял делать. Но не заставлял любить. Это разные вещи, правда? Можно заставить есть, но нельзя заставить быть голодным.

Мира не ответила. Но где-то внутри — в том самом заброшенном доме, где дрожала струна, — стало тише.

— Ладно, — сказала она наконец, и голос у неё был обычный, деловой, чуть суховатый. — Испытательный срок — три месяца. Оплата — по факту, по объёму. Если что-то испортите — а вы испортите, все сначала портят, — платить будете из своего кармана. Если не справитесь — уйдёте, и мы забудем, что виделись. Если справитесь — поговорим.

— Согласен.

— Инструменты свои?

— Свои. Дедовские, частично. Резак, косточка, гладилки, швейные принадлежности — всё с собой.

— Клей наш. У нас свой состав, я вам не дам портить книги вашим.

— Хорошо.

— И ещё, — сказала Мира. — У вас есть вопросы?

— Кофе. Вы в объявлении написали «кофе при себе». Это шутка была?

Ярослав улыбнулся — с ямочкой, и ямочка эта была такой мальчишеской, такой настоящей, что Мира поспешно опустила глаза на папку.

— Просто я знаю, как это бывает. Приходишь работать, а через три часа начинаешь засыпать. И тебе никто не обязан варить кофе. Поэтому я всегда ношу с собой термос. У меня в рюкзаке термос, между прочим, прямо сейчас. Хотите?

— Нет, — сказала Мира. Слишком быстро. И, спохватившись, добавила: — Спасибо.

— В объявлении это была шутка, у нас есть своя кофеварка. В подсобке.

— Тогда я в порядке, — сказал Ярослав.

Она согласилась взять его на испытательный срок, потому что руки у него были честные, а книги нуждались в спасении, и вовсе не потому, что он улыбнулся.

Это было решено уже к тому моменту, как он закончил рассказывать про щётки. Мира смотрела на его руки — на широкие ладони, лежащие на стойке, на подушечки пальцев, которые она сразу, с первого взгляда, отметила, как необычные: гладкие, мягкие, с почти стёртыми линиями, как у людей, которые работают с чем-то очень тонким. Это были руки человека, который держал бумагу. Не переключал — держал. Чувствовал. Знал её наощупь.

Она много лет выбирала людей по рукам. Потому что лицо можно соврать, глаза можно соврать, голос можно соврать — а руки не врут никогда. У пьяниц дрожат пальцы. У воров длинные ногти и привычка сжимать кулак. У людей, которые не любят то, что делают, — руки в постоянном движении, они не могут спокойно лежать. А у Ярослава руки лежали спокойно. Тяжело, уверенно, как у человека, который знает, что этими руками он может — и сделает.

— Хорошо, — сказала Мира. — Приходите завтра. В девять. Я вам покажу, с чего начинать.

— В девять, — кивнул Ярослав. И вдруг добавил, без всякого перехода: — Вы здесь одна живёте?

Мира подняла на него глаза так резко, что старые часы в холле, кажется, сбились.

— Что?

— Извините, — сказал он, и — Мира отметила это с удивлением — он действительно смутился. — Я не то спросил. Я имел в виду — библиотека закрывается рано, а вы, судя по всему, остаётесь. Я видел свет на втором этаже, когда шёл мимо вечером. Вчера. Я вчера приехал, ходил по городу, искал, где остановиться. И вот... увидел свет. Просто подумал: неужели она тут живёт. Я не хотел лезть. Правда.

Мира молчала. Долго. Так долго, что даже Ярослав — который, судя по всему, не был робким человеком — начал поглядывать на дверь.

А она думала. Думала о том, что он видел свет. Думала о том, что значит — кто-то ходит по её городу вечером и смотрит на её окна. Думала о том, что за триста лет никто ни разу не спрашивал у неё, живёт ли она в библиотеке. Думала о том, что тень, удержавшая вазу, ещё вчера сказала ей: он рядом. И вот — он. Стоит перед ней. С мокрыми волосами. И спрашивает, одна ли она живёт.

Совпадение? Мира в совпадения не верила. Триста лет — это очень хорошая школа и в этом отношении тоже.

Но она посмотрела на его лицо. На смущение. На то, как он держит руки — не прячет, не оправдывается, не пытается сделать вид, что вопрос был невинный. И поняла: он не шпион. И не посланник. И не тот, кого она боялась.

Он просто человек. Который увидел свет в окне. И запомнил.

— Я иногда тут ночую на втором этаже, — сказала она ровно. — Это удобно. Не надо тратиться на квартиру, хотя бы какое-то время.

— Логично, — сказал Ярослав. И, помолчав: — Я снял комнату на Прядыльной. У какой-то бабушки. Она мне сразу сказала: «Молодой человек, у меня коты, и они будут спать на вас». Я сказал: «Хорошо».

— И как?

— Спят, — сказал он с серьёзным лицом. — Оба. Ночью один на ногах, другой на голове. Я думал, что не смогу, а оказалось — нормально. Даже уютно. Как будто ты не один.

Мира опустила глаза на папку. Что-то в груди снова шевельнулось. Она это решительно задавила.

— До завтра, Ярослав, — сказала она.

— До завтра, Мира Андреевна.

Он пошёл к двери.

Когда он уходил, обернулся в дверях и сказал: «У вас глаза цвета первого льда на озере. Простите, реставраторы — люди странные, мы не любим скрывать, что у нас внутри», — и Мира на целую минуту потеряла дар речи.

Он сказал это негромко. Не как комплимент — без всякого нажима, без паузы, без взгляда исподлобья, которым мужчины обычно сопровождают такие фразы. Он сказал это так, как говорят: «У вас на плече паук» или «Вы обронули перчатку». Спокойно. По факту. Просто потому, что заметил.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.